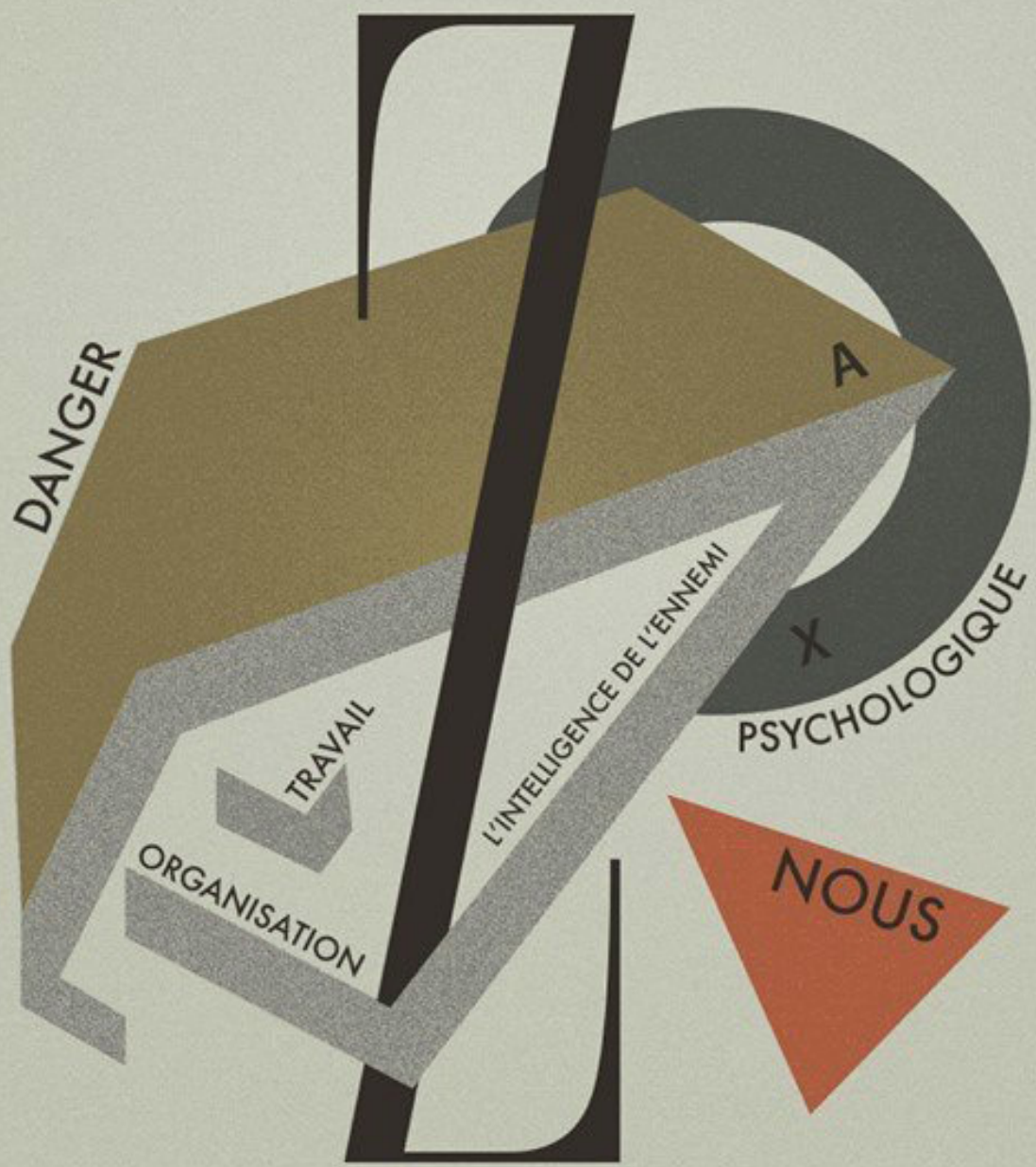


ВИКТОР СЕРЖ

КОГДА НЕТ ПРОЩЕНИЯ



Виктор Серж
Когда нет прощения

Книжный магазин "Циолковский"

1946

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Серж В.

Когда нет прощения / В. Серж — Книжный магазин
"Циолковский", 1946

ISBN 978-5-9908592-7-2

Виктор Серж (Виктор Львович Кибальчич, 1890–1947) – русский и франкоязычный писатель и поэт, сын народовольцев, анархист, революционер, заключенный в французскую тюрьму по «делу банды Бонно», деятель Коммунистической партии и Коминтерна, участниклевой оппозиции, ссыльный, эмигрант, социалистический гуманист. «Когда нет прощения» – последний роман Виктора Сержа, возможно наиболее провидческий, так как конец долгого пути героев романа, как и у Сержа – это Мексика. Опытные, стойкие и преданные коммунисты сталкиваются с бесчеловечной машиной репрессий и уничтожения и стараются выкарабкаться из этой жуткой системы, созданной ими самими во имя прекрасных гуманистических ценностей. При этом, никто не собирается предавать ни свои идеалы, ни личную и коллективную Историю. У романа завораживающая структура – четыре его части, происходящие в разные годы в четырех временах года, позволяют прозвучать важнейшим темам и образам каждый под своим особым знаком – холода и тьмы в блокадном Ленинграде, ветра в предвоенном Париже, жары в Мексике, огня в гибнущем Третьем Рейхе – благодаря этому роман превращается в симфонию, потрясает и завораживает. Издательство выражает благодарность Жилю Зильберштейну (Швейцария), Международному фонду им. Виктора Сержа и НПЦ «Праксис» за помощь в издании этой книги.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-9908592-7-2

© Серж В., 1946
© Книжный магазин
"Циолковский", 1946

Содержание

I.	7
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Серж Виктор

Когда нет прощения

© ООО «Книгократия», 2017

* * *

I. Тайный агент

*Есть в мире место, где бы смог я умереть достойно?
– Тот, кто о том не ведал, понял суть вещей.*

Около семи часов утра Д. сам погрузил свои два чемодана в такси. Улица еще дремала в тусклой белизне парижского рассвета. Ни одного человека, лишь проехал молочник. Камни и асфальт по-утреннему чисты. Мусор уже вывезли. Ничего подозрительного, решил Д. Он попросил таксиста отвезти его на Северный вокзал, возмутился у стойки буфета из-за того, что безвкусный кофе не подавали слишком долго, а затем быстро погрузил чемоданы в другую машину, которая доставила его на площадь Йены. Убедившись, что за ним никто не следует, он задержался на пустынной площади, похожей на декорацию без актеров, которую заливал такой приятный глазу рассеянный свет, и задумался. До восьми утра зажиточные кварталы Парижа кажутся предоставленными сами себе; в тишине они – лишь творения архитектурной мысли. Д. зашел в бистро, где обыкновенно завтракали шоферы, и заказал чашку настоящего черного кофе и два горячих рогалика, невольно вспомнив при этом о приговоренном к смерти молодом человеке, который попросил рогаликов на свой последний завтрак; просьба его осталась без ответа, было слишком рано. «Не повезет, так до конца!» – сказал бледный юноша, действительно, в конце жизненного пути его ждал эшафот... Прежде чем сесть в третью машину, которую должен был вызвать по телефону, Д. подумал о том, что все эти многочисленные предосторожности, сколь бы разумными они ни казались, на самом деле – полубезумная игра. Промежуточные станции, а возможно, вехи на опасном пути. Считаешь себя в полной безопасности, а кто-то может случайно заметить тебя на Северном вокзале или возле площади Йены. Записать номер машины. Сам факт смены такси способен привлечь чье-то внимание. Если думать обо всем этом, можно стать маньяком. На этот раз он попросил отвезти себя прямо в отель, на улицу Рошешуар. В этом буржуазном доме селились, вероятно, коммивояжеры, небогатые туристы, скромные парочки, одинокие музыканты, играющие в ночных барах. Портье поднял голову: «А, месье Ламберти». Д. твердым голосом, вживаясь в новую роль, поправил: «Бруно Баттисти, месье». – «№ 17, не так ли?», – спросил портье, который, впрочем, прекрасно знал ответ. В номере Д. проверил замки чемоданов, хотя не сомневался, что хорошо закрыл их. В девять утра он возвратился «к себе». Консьержка приветствовала его: «Добрый день, месье Малинеско. А я думала, вы в отъезде...» (Видела, как я выносил чемоданы, ведьма?) «Ну да, мадам, я уезжаю на полтора месяца...» (Навсегда, мадам!) «Желаю удачной поездки, месье Малинеско», – сказала консьержка: в таких случаях принято говорить что-нибудь любезное.

В десять часов пришла мадемуазель Арманда, отвратительно пунктуальная: она могла замедлить шаг на улице, взглянув на наручные часы, или подождать полминуты на лестничной площадке, прежде чем войти... Увидев, что дверь в кабинет приоткрыта, она вошла и скорее выдохнула, чем произнесла: «Месье Малинеско...», – при этом почтительно кивнув головой. Увядшая, далеко не красивая, неброско одевавшаяся, с большими очками на розовом лице состарившейся прилежной девочки. Д. пристально глядел на нее. Что ей о нем известно? То, что он богат (он, никогда ничего не имевший); богатство она уважала. Филателист, библиофил, любитель старины, способный в разгар зимы отправиться на поезде или машине в Бретань за каким-нибудь старым сервантом... Дружен с людьми искусства. Она отвечала на телефонные звонки, писала письма, порой ходила в банк, принимала месье Сога, дипломатического атташе, маленького, нервного, чересчур надушенного господина, месье Сикста Мужена, анти-

квара, месье Келя из Филателистического общества, иногда месье Алена, который совсем не походил на художника... Она начинала разбираться в марках и даже потихоньку их коллекционировать – только французские колонии, они недороги. Достойное занятие, кажется, у короля Англии замечательная коллекция. Время от времени Д. нанимал детектива для слежки за мадемуазель Армандой. По вечерам она встречалась с неким Дюпуа, чиновником в сфере образования; они ходили в кино; консьерж дома, где жил Дюпуа, называл Арманду «невестой этого славного господина, у которого была такая несчастная жизнь...». Д., еще меньше веривший в несчастья других, чем в свои собственные, распорядился понаблюдать за Дюпуа Эваристом, сорока семи лет, домовладельцем из Иври, разведенным... Этот господин играл на скачках, впрочем, осторожно, покупал билеты Национальной лотереи, посещал по пятницам бордель на улице Сен-Совер. Безобидный человек.

– Вы собираетесь замуж? – спросил Д. у Арманды.

Она не вздрогнула, несомненно, не способная на подобный живой рефлекс, но пальцы ее непроизвольно задрожали.

– Месье Малинеско... Откуда вы знаете?

Он заметил, что от смущения секретарша немного похорошела.

– Да вот... Случайно, мадемуазель. Я видел вас в субботу под руку с вашим женихом...

– Это еще не решено окончательно, – сдержанно сказала она.

Безобидна, безобидна! (Но это не было разумной убежденностью.)

– Я уезжаю, мадемуазель, на полтора месяца. Почту передавайте месье Мужену...

Если через три дня кто-нибудь будет похож на крысу, попавшую в ведро с водой, так это месье Сикст Мужен! Д. пожалел, что обладает весьма ограниченным чувством юмора; хотел бы он посмотреть, как задержится эта дрожащая раболепная тварь, месье Сикст Мужен.

– Когда позвонит месье Сога, скажите ему, что я в Страсбурге...

«Страсбург» означал «непредвиденные затруднения».

Мадемуазель Арманда не шевельнулась. Никто ни о чем не догадывался. Невероятно, что Они несколько месяцев назад не попытались установить за мной внутреннее наблюдение! Но если бы невероятное иногда не оказывалось правдой, бороться было бы невозможно. Своим мелким беглым почерком секретарша отметила в календаре: «Месье Сога. Сказать: Страсбург...» Д., не любивший ничего записывать, улыбнулся:

– Вижу, вы не доверяете своей памяти.

– Нет, но странная вещь, я иногда путаю названия городов, таких, как Эдинбург, Гамбург, Страсбург, Мюлуз...

Д. не ожидал этого. В горле у него вдруг пересохло. Мюлуз на том же условном языке, который знали лишь пять человек, означал: «Не доверяйте».

– ...Почему?

– Но я не знаю, месье... Видите, я едва не написала «Мюлуз», совершенно непроизвольно.

– Может, я и в Мюлуз отправлюсь, – выразительно произнес Д.

Он смерил ее каменным, холодным и твердым взглядом, который секретарша редко видела у него; это не был взгляд любителя искусства. Арманда попыталась улыбнуться, но улыбка вышла жалкой. Д. быстро взвесил все за и против.

– Мадемуазель, вот ключ от нижнего ящика маленького шкафчика, который стоит в коридоре. Принесите мне досье месье Февра из Цюриха, вы знаете, из гельветической коллекции... Досье лежат в беспорядке, поищите.

– Хорошо, месье.

Разумеется, она оставила свою сумочку возле пишущей машинки. Д. открыл ее с невозмутимой ловкостью, приобретенной в то время, когда занимался перлюстрацией. Пробежал глазами пневмокарточку, подписанную «нежно привязанный к вам Эварист». Пролистал

записную книжку. Заметил – и ужаснулся – номер телефона: X. 11–47. Ненавистный номер – 11–74. Перестановка цифр! Подозрение переросло в уверенность, отдаваясь в каждой нервной клетке. Возвратившись, Арманда взглянула на свою сумочку – ах, мы друг друга понимаем! Д. взял письмо месье Февра и положил в карман. «Рассортируйте досье...» Но он забрал ключ от шкафа, и секретарша не возразила... И правда, мы прекрасно друг друга понимаем! – подумал Д. Это все меняло. Он вспомнил, что поймал первое такси всего в нескольких шагах от дома, и шофер как-то особенно внимательно наклонился к нему... Едва он выйдет, она наберет 11–74 – это, наверно, метрах в ста отсюда, а может, даже в самом доме... Арманда, очень смущенная, не скрывала озабоченности.

– В чем дело? – бесцеремонно спросил Д.

Она объяснила, что в отсутствие месье Малинеско ей хотелось бы взять трехдневный отпуск, если возможно, чтобы... Речь идет о тете, домике в деревне, Дюпуа. Из сумочки появилось письмо нотариуса.

– Ну, разумеется, – отрезал Д.

Самое худшее – не доверять самому себе, не доверять недоверию. Д. увидел на конверте из нотариальной конторы телефон 11–47. Успокоенный, он позабыл о Мюлузе. «Да, позвольте мне выписать вам за истекший квартал премию – пятьсот франков...» По тому, как люди принимают деньги, можно догадаться об их продажности. Сверкнувшая очками молодая женщина была сама невинность.

Д. верил, как фокусник верит в свои трюки, в тайны, коды, уловки, молчание, маски, безупречную игру; но ему было также известно, что тайны продаются, коды расшифровываются, уловки не срабатывают, молчание нарушается, маски разоблачаются легче, чем лица, копировальная бумага, на которой печатали депеши, накапливается в мусорных ящиках министерств, игра никогда не бывает безукоризненной. Он верил в непобедимость вездесущей, разветвленной, богатой, мощной Организации – сильной не только преданностью своих членов, но и сообщничеством противников, подпитывающих ее порой невольно, порой из расчета. Но начиная с того, дня, когда он начал отдаляться от Организации, он почувствовал, что отвергнут ею; эта сила, которая стояла за ним, была в нем, становилась удушающей.

Он внутренне порвал с Организацией, когда раскрыл преступление. Преступление зрело долго и незаметно, но проявилось внезапно, подобно ночной эскадре на море, неожиданно высвеченной прожекторами. Однажды ночью, в тишине, перед газетами, разбросанными на ковре, что-то в Д. прорвалось: «Я больше не могу! Это конец всему!» И отныне он потерял интерес к этой дурацкой комфортабельной квартире, где в часы отдыха он мог приостановить игру, устроившись в кресле и положив перед собой шахматную доску – решая проблемы и неизбежно находя ответ, ибо они были заданы заранее, надо лишь тщательно обдумывать их. Или ночью, уютно устроившись в постели, при уютном свете ночника, со стаканом лимонада под рукой, читать труд по физике, ибо строение атома – единственная проблема во Вселенной, да и та будет разрешена, и тогда настанет эра безнадежности. Эти упражнения ума успокаивали его, но не позволяли расслабиться. Тем, кто знает динамику мира, идущего навстречу катаклизмам, от катаклизма к катаклизму, подлинного спокойствия не дано.

Он рассеянно согласился предоставить секретарше отпуск. «Счастливого пути, месье Малинеско... Можете рассчитывать на меня... Страсбург, говорят, очень красивый город...» Призрак улыбки проявился на морщинистом лице человека, когда он пошутил (веселье не избавило от настороженности) «Какой такой красивый город? Мюлуз?» Арманда казалась слегка обиженной: «Ну вот, вы считаете меня ребенком...» «Да что вы! – сказал он искренне. – Надеюсь, когда я вернусь, вы сообщите мне о готовящемся бракосочетании...» «Может быть, месье», – ответила секретарша, и глаза ее так живо блеснули, что это огорчило Д. («Когда я вернусь – никогда...»)

«Сколько раз уже я уходил и не возвращался! Но сейчас...» На лестничной площадке он глубоко вздохнул. Морской воздух не так бодрил, как этот первый вдох на пути в неизвестность – облегчение без радости и даже смешанное с тоской... Невыносимый груз сброшен, плечи распрямляются... Д. был доволен, что завершил все дела, у него было двое суток преимущества перед будущими преследователями. Лифт двигался. Д. спустился на несколько ступенек и внезапно остановился, прислушавшись. Кто-то поднимался, шаги были тяжелые и мягкие, и Д., кажется, узнал их.

Этот некто слишком торопился и не стал дожидаться лифта. Д. украдкой заглянул в лестничный проем и увидел на перилах двумя этажами ниже жирную серую руку Сикста Мужена. Реакция была мгновенной. Д. быстро поднялся на цыпочках на шестой этаж. Мысли в его голове напоминали прицельные выстрелы. В те несколько секунд, когда речь шла о жизни, мозг его работал с предельной ясностью, а сердце, привыкшее к неожиданностям, билось ровно. Двое суток преимущества? Ни одного часа, дружище. Возможно, ты опоздал на 12 или 14 часов. Мужен пришел, потому что его послали. Мое письмо, отправленное вчера, должно прийти в Амстердам лишь послезавтра утром. Я не предвидел, что меня тоже дезинформируют, что мне не следует доверять руководителям, что чрезвычайный посланник мог солгать, назначив мне встречу в Голландии – или поручить кому-нибудь вскрывать его корреспонденцию в его отсутствие: корреспонденцию, недоступную другим под страхом смерти. Мужен остановился этажом ниже и позвонил. Несмотря на работу лифта, тишина была такая, что Д. почувствовал прерывистое дыхание этой полезной сволочи, Сикста Мужена. Дверь отворилась и закрылась за Муженом. Быть может, внизу, на улице, расставлена невидимая сеть. Д. переложил браунинг из кармана брюк в пальто – смешная предосторожность. Сел в лифт. В отделанной красным деревом кабине он отвернулся от зеркала, отгоняя от себя образ одного шпиона-двойника, которого однажды сопровождал в лифте тайной тюрьмы, растерянного красавчика с усами сердцееда, которого вскоре расстреляли. Это заурядное лицо, много лет назад обращенное в пепел, уступило место саркастичной, но беспокойной мысли. А если бредовое подозрение пало на чрезвычайного посланника Кранца? Кто-то, посланник более чрезвычайный, вскрывал его корреспонденцию... Мы живем в бредовое время, я хочу прорвать этот бред! Рассуждая таким образом, Д. выскочил на улицу, оглядываясь по сторонам.

Возле дома № 15 стоял пустой серый «ситроен». Медленно ехал молодой велосипедист с желтым пакетом на багажнике, это мог быть условный знак. Если он посмотрит на меня, это будет означать... Не смотрит, но, быть может, он меня уже заметил и не подает виду... Напротив замедлила шаг молодая женщина, ища что-то в своей сумочке: возможно, она наблюдает за улицей через карманное зеркальце. С улицы Севр резко повернул зеленый грузовичок, как будто шофер куда-то опаздывал... Ничего особенного и одновременно подозрительно. Д. предусмотрительно направился к пустому «ситроену».

Никто не спустился за ним по лестнице метро. Никто не заинтересовался им в вагоне первого класса. В подземных переходах станции «Сен-Лазар» можно было резко повернуть, сделать вид, что ошибся направлением... Д. проделал это несколько раз. Какая-то наглая блондинка обернулась в его сторону и широко улыбнулась, обнажив розовые десны. «Ах! – сердито сказал Д. – Извините!» Только через какое-то время он понял, что его пальто с поднятым воротником, застегнутым на верхнюю пуговицу, выглядело смешно и нелепо. Он закурил сигарету и вышел на вокзал. Неразумно, вокзалы благоприятствуют неожиданным встречам. Действительно, из толпы неожиданно возник Ален, будто выскочив из-под газетного прилавка.

– Вы! – радостно и удивленно воскликнул он.

Открытое лицо, взгляд скорее смысленный, нежели умный; уверенные движения. Д. любил его по-своему, насколько он еще был способен на дружеские чувства. Образцовый, инициативный, осторожный, бескорыстный агент, Ален был обязан Д. поступлением на службу, и преданность ей стала смыслом его жизни. Д. поручал ему лишь не слишком рискованные

дела, главным образом, связи с мелкими чиновниками или партийными активистами, занятыми в арсеналах и доках. Раньше, до того, как кошмар принудил его к молчанию, Д. иногда приглашал Алена с женой пообедать в хорошем ресторане. Они говорили о живописи и теории: о событиях. Алена охотно задавал вопросы. Д. понравилось незаметно обучать его. Это, несомненно, приносило больше пользы ему самому, чем образованному, но слишком прямолинейному молодому человеку.

* * *

– А вы? – спросил Д.

– Все в порядке. Через десять дней у меня ожидается интересное приобретение. Вы будете довольны.

«Я тоже, – подумал Д., – слишком прямолинейен... Чтобы сформировать меня, потребовалась целая историческая эпоха.

В двадцать пять лет я был как он, только не такой красивый и меньше нравился девушкам...»

– Пройдемся немного, Алена. Я рад тебя видеть.

Они поднялись по Римской улице. На площади Европы Д. сказал: «Остановимся здесь...» На перекрестке, устроенном над железнодорожными путями, соединялись, чтобы разойтись в разные стороны, улицы, и он вполне заслуживал свое название. Начал накрапывать дождь. Над вокзалом медленно поднимались клубы дыма. Город заливал неяркий рассеянный свет. Они остановились.

– Мы больше не увидимся, Алена. Вас найдут. Вы получите инструкции.

Д. заметил, как в молодых карих глазах возникает тревога.

– Да. Это так. Я с вами прощаюсь.

– Я не понимаю, – произнес Алена. – Послушайте... Вы можете мне доверять... Скажите только одно слово, только одно. Что-то случилось? Опасность? Вы...

Страх охватил Алена, тот особый страх, который Д. прекрасно знал (страхи бывают такими разными!): боязнь догадаться, понять то, что непостижимо...

– Под подозрением? Нет. Я все тот же. Я ухожу. Для меня все кончено. Вот так.

– Но это невозможно! – очень тихо произнес молодой человек.

Его губы, казалось, шептали другие слова, которые нельзя произнести вслух.

– Я устраниюсь, – сухо сказал Д. – Вы будете работать с другим.

Он проводил опыт над этим мальчиком, словно делал себе прививку. Испытание привязанности, скрытое бесполезной бравадой. Д. заметил – странно, он считал, что подобные чувства в нем угасли, – что хочет быть понятым. Этот мальчик, душу которого он сформировал, не может не понимать, что если он, Д., уходит, что если он больше не может, значит, произошло нечто очень серьезное, и нужно сделать вывод... Сознание человека – вещь совершенно второстепенная в борьбе за такое великое дело: и вот оно выходит на первый план. Человек отказывается от прежней жизни, оставляет Секретную службу... Он говорит: нет. Я, один, безоружный, верный, после двадцати лет работы сегодня говорю: нет. Все должно стать очень мрачным, чтобы я до этого дошел.

Д. открывает свой кожаный портсигар. По площади едут велосипедисты, они похожи на насекомых, человеческих насекомых. Им неведомы эти проблемы. Внизу, под площадью пытит локомотив. Осень вместе с мелким дождем пробирает до костей. Алена стоит с непокрытой головой.

– Вы простудитесь, Алена, – дружески говорит Д. – Вот мы и расстаемся. Прощайте.

Он наблюдает. Молодой человек побледнел, он кажется больным или озлобленным. Если бы женщина крикнула ему: «Я люблю другого, уходи!» – он бы также напряженно молчал. Алена

видит Д. точно через матовое стекло. Перед ним старое, некрасивое, усталое лицо, кажется, что через плоть просвечивает череп. Череп, который цепляется за жизнь. Устраниться невозможно! Можно бежать, спастись от преследователей, и тогда все кончено, потому что бегство – это измена.

– Не ожидал этого от вас, – шепчет Ален.

Тон меняется. В нем проявляется разочарование, граничащее с презрением, с губ готово сорваться оскорбление. Щеки молодого человека слегка розовеют. Он бормочет:

– ... Вам должно быть известно лучше, чем мне, что...

(... Старый свиток разматывается... Все, что кажется чудовищным, необходимо и потому совершается – партия превыше всего и руки ее чисты – если мы начнем сомневаться, мы погибли – те, кого убивают, предатели, поэтому их убивают – вы САМИ этому меня учили!.. Д. догадывался об этих мыслях, они не могли быть иными – так станок вытачивает заданные детали. По совести он может противопоставить им лишь свое твердое НЕТ, в нем освобождение, освобождение, которое трудно оправдать. Он едва различимо качает головой, на губах возникает улыбка уверенного превосходства, похожая на оскал. Неужели этот мальчик не вспомнит, кем я был для него, кем я был, и кто я есть?)

Ален не знал, куда девать руки. Правая теребила пуговицу непромокаемого плаща. Он был оглушен. Взять его за руку, прямо посмотреть в глаза и сказать: «Успокойся, малыш. Я ничуть не изменился. Я понял, принял решение, лишь потому, что не способен измениться, я не могу больше выносить происходящее. Столько смертей, столько лжи, столько яда, неожиданно залившего наши души, самые наши души, слышишь! Прости, что впадаю в мистику...» Это было лишь мимолетным порывом. Д. понял, что это невозможно. Человек всегда неблагоразумен...

– Вы оторвете пуговицу, Ален.

От растерянности на лице молодого человека появилась безумная улыбка.

– Вы..., – сказал он.

Он не закончил. Повернулся и ушел прерывистым шагом, будто готовый пуститься бежать. Он все-таки не смог произнести слово «предатель». Из сожаления? Сомнения? Понял ли он, что это было бы невероятно несправедливым?

«Что ж, плевать», – ответил Д. самому себе. «Славный парень. Может, и он тоже поймет, да будет поздно. Возможно, его сожрут раньше. Он из тех, кто слепо верит, служит, а потом получает и наматывает круги по двору централа. Настает время, и Служба не знает, что с ними делать, их надо награждать, обеспечивать их молчание или уничтожить... Их будущее – не Аргентина или Мексика, их будущее – небытие. Так вернее. Ален, за то, что был со мной знаком...»

«Ладно, отвлечемся. Я не хотел этого прощания. Ален теперь враг. Успокоившись, он пожалеет, что не изобразил сочувствие, кто знает? Или прежнее восхищение? Чтобы сохранить контакт. Я доверился его молодости, его тревоге: и он бы заманил меня в ловушку. Правило: никто здесь не заслуживает доверия. Потому что заслуживающие доверия мертвы. Опорочены и мертвы. И вообще-то это наших рук дело...»

Д. окинул отчаянным взглядом площадь Европы. Накрапывал дождь.

* * *

Не время было гулять по лесу, но нужно было как-то убить время перед мучительной встречей, назначенной на три часа. Есть не хотелось. Между физиологией и психологией должна существовать непосредственная связь. Возникла жажда увидеть деревья, воду, побыть в одиночестве; в идеале это был бы прекрасный вид зеленой лесной поросли, горами на горизонте, полетом птиц, ветром, согретый солнцем, один из сибирских пейзажей, в котором соче-

таются печаль и свежая радость (если не томиться в неволе). И знать, что после нескольких часов пути можно выйти к Иртышу, спокойной реке, образу бесцельной судьбы... «В Лес, шофер, не спешите, пожалуйста...»

Старая машина слегка клонила налево. Д. покачивался в обитом потертом сафьяном салоне. Он опустил оба стекла, чтобы вдыхать свежесть дождя... Лес был серо-рыжий, подернутый легкой пепельной дымкой в глубине, усыпанный опавшими листьями. Зрелище упадка, вот что мне сегодня нужно. Асфальтированные аллеи, ухоженные поляны между купами деревьев, гладкая поверхность прудов, отражаясь в которых, небо приобретало грязноватый оттенок, – все пребывало в забвении, ни живом, ни мертвом. «Помедленнее, шофер, прошу вас...»

Д. отдыхал. Будущее, подобное этим аллеям. Ничего не хотеть, ничего не ждать, ничего не бояться. Никому не принадлежать, даже самому себе. Ни за что не держаться. Перестать быть мыслящей молекулой в огромном, ожесточенном, здоровом коллективе, живущим таким напряжением воли, что нет возможности задумываться о происходящем. Неужели я настолько впал в уныние? Я становлюсь персонажем романа для интеллектуальной публики. Всё уходит от меня, всё: идеи, которые превыше всего, Партия, Государство, новый строящийся мир, мужчины, женщины, терпящие лишения в окопах на линии огня (как похоже на этот продрогший лес), где находили пристанище бойцы, измотанные и ожесточенные войной, которую вели вопреки себе ради надежды, а надежда обманута! Оживленные улицы подлинной столицы мира, стойки в лесах и дома с широкими квадратными окнами, где в каждой бетонированной клетке ютятся полуголодные существа, пленники великой судьбы (и 40 процентов паразитических бумажек). Столица попыток! Лаборатории микрофильмирования, классы специальной школы, подземные камеры секретной тюрьмы, сотрясающиеся, когда рядом проходят поезда метро, шифровальные кабинеты, центральная Власть. Место казней, несомненно, подвал, забетонированный, тщательно вымытый, рационализированный, куда столько людей спускались, осознавая, что настал конец всему: вере, делу, жизни, разуму... Красные знамена... Красные знамена, ростки социалистического гуманизма, которые все-таки не смогли полностью покрыть прах, грязь и кровь... Неподдающееся анализу очарование городов Востока, ощущение мира несознательного, но не ведающего о голоде, терроре, переутомлении, аскетическом и холодном энтузиазме, который только и придает смысл течению жизни; приятное благополучие мира, продуманного в мелочах, пронизанного чувственностью, день за днем скатывающегося к апокалипсису... Горькое удовольствие слияния двух тел на фоне грозящих разразиться катастроф, которых возвещают заголовки газет, эта колоссальная интрига, опутывающая страны – раскрашенные акварельными цветами на детской карте – нитями информации, дезинформации, низости, подвига, статистики, нефтью, металлами, посланиями... Убежденность, что все-таки мы – как бы ничтожны ни были! – самые прозорливые, самые человечные в броне своей научной бесчеловечности, подвергающиеся за это всем возможным опасностям, более других верящие в светлое будущее мира – и обезумевшие от подозрений! – Ах, все это уходит от меня, что же мне остается, что останется от меня? Почти старый человек, так беспощадно рассуждающий, увозимый усталым такси в бесконечность пейзажа... не лучше ли возвратиться? «Товарищи, расстреляйте меня, как и остальных!» По меньшей мере, это соответствовало бы логике Истории... (с того момента, когда начинаешь принадлежать Истории... Довести дело до конца... Если нужно погасить солнце, погасим! «Необходимость», магическая формула...). Это было бы легче всего; но стать соучастником? А если нет такой необходимости? А если огромная машина работает вхолостую, если ее колесный механизм испорчен, если ее социальный механизм прогнил? Как говорил Старик? «Руководство уходит из наших рук, мы даже не можем контролировать сами себя...» Здесь мысль туманится, историю, быть может, гораздо труднее понять, чем думали мы со своими тремя десятками материалистических формул. – Вероятно, они вскоре меня убьют: 1. я полон развращающих идей (один японский полицейский

сказал бы: «опасных идей»); 2. они продолжают работу; 3. со мной покончено... – Но какую работу продолжают они, в какие бездны идут?

Бессвязная череда его дней и ночей. Он вспомнил лица гонимых, тщательно изученные по фотографиям, ибо за ними следили, посылали к ним преданных агентов, незаметно посещали их убежища, просматривали их бумаги, переснимали получаемые ими письма – а люди эти ни о чем не подозревали, продолжали свою ничтожную деятельность, печатали бюллетени на ротаторах, собирали деньги на издание брошюр, время от времени излагали свои теории, по существу, достаточно верные, перед тремя десятками слушателей (в число которых неизменно входили тайные агенты) на антресолях кафе «Вольтер». Присоединиться к ним? А они поверят мне, они, не верящие самим себе? Теперь я верю только в силу. Правда, лишенная своей метафизической поэтичности, существует лишь в головах людей. А эти головы так легко уничтожить! И правды не станет. Сила сейчас против них, против меня, мы ничего не сможем сделать. Поток уносит нас. Д. ожидал если не радости освобождения, то хотя бы избавления от головной боли. Забыв об осторожности, он громко и сердито произнес: «Все-таки я прав!» Шофер обернулся к нему:

– Что вы сказали, месье?

– Ничего. Сделаем еще круг. У меня пока есть время.

Время – на что? Остается лишь отрицать. Нет, нет, нет, нет. Нет силе. Я, ничто, не согласен. Я сохраняю рассудок, когда вы его теряете. Я утверждаю, что уничтожение лучших – ужаснейшее преступление, ужаснейшее безумие. Если сила оборачивается против самой себя и начинает ожесточенно заниматься саморазрушением, прав я, а не она. Она выживет, я погибну, значит, права она, а не я... Может ли она выжить, если пожирает себя, если страдает от неведомого доселе отчуждения? А если выживет, откажется ли от самой себя, изменит ли облик и цели? Тогда я сохраняю ей верность, отказываясь от нее, но это чистый идеализм, не имеющий практического смысла.

Он так ясно помнил имена, черты, мелочность, мании, способности, пути, должности, книги, величие стольких казненных, что запрещал себе думать о них из опасения лишиться сил. Изгнанные из его мыслей, они оставались в нем безымянной «когортой», черной массой... Мы верили в «железную когорту», когорту избранных! Наша гордыня наказана по заслугам... Черная масса возникла в результате внимательной проверки сведений и зависела от степени его горечи, возмущения или жалости: пятизначное число, во всяком случае. Столько казненных.

Что такое «совесть»? Остатки вбитых в голову верований, начиная с примитивных табу и заканчивая массовой печатью? Психологи придумали для этих глубоко запечатленных понятий специальный термин – сверх-Я... Мне остается взывать лишь к совести, а я не знаю, что это. Я чувствую, как во мне, из глубин неведомого поднимается бессильный протест против разрушительной силы, против всей материальной действительности – во имя чего? Внутренний свет? Я рассуждаю почти как верующий. Но иначе не могу. Слова Лютера. Немецкий провидец бросил свою чернильницу в голову черта, говоря: «Да поможет мне Бог!» А кто поможет мне?

Массовые газеты не знают совести (это известно точно, ибо они слишком часто оплачены через дальновидных посредников), а иных не существует. Великие писатели не поверили бы мне. А те, кто поверил, не смогли бы понять, потому что понять надо не меня, а кошмар большой силы, кошмар исчезновения категории мыслящих людей. Писатели, впрочем, предпочитают иные темы, менее компрометирующие, лучше продающиеся... Я не скажу ничего, ничего. Если через полгода меня оставят в покое где-нибудь в Парагвае или Аргентине, я возвращусь к трудам по психологии, попытаюсь понять, что такое совесть, сверх-Я, эго и подозрительность, мания подозрительности – и внезапная жажда убивать лучших, чтобы стать вровень с ними: на их место... Может, в этом мои идеи устарели. И социальной психологии вообще не существует. Еще не настало время для того, чтобы люди не смогли обойтись без этих знаний, более нужных, чем знания об устройстве машин. Катастрофы же в них не нуждаются. Умения воспитать чело-

века в повиновении пока достаточно для Высшего управления Образования, Психиатрической службы Здравоохранения, Политического руководства Армии, Политбюро, Института Долголетия, призванного обеспечить сохранение кадров государства (государства, уничтожающего свои кадры...). А все эти учреждения занимаются подготовкой катастроф. Круг замкнулся.

Д. остановил машину у дверей маленького кафе в Нейи. Устроившись за беломраморной столешницей, он заказал ветчины и вина. Депрессия отпускала. В нас происходит таинственный танец мрачный идей, озарений и инстинктов, поставленный неведомым режиссером: психологией и духовным неизвестным. Шофер, заказав выпивку, обсуждал у стойки с хозяином искусство приготовления кролика в белом вине. Д. неожиданно проникся симпатией к ним обоим. Довольно распускаться. Узел разрублен. Теперь нужно преодолеть последствия нервного переутомления. Выше голову, старина, ты из породы сильных. (Неплохо время от времени повторять такое себе, пусть этого всего лишь один из способов самовнушения...) Он вспомнил послание, которое отправил накануне Чрезвычайному Посланнику, два десятка умышленно плоских строк, содержащее, однако, искренние слова:

«...Я до такой степени не одобряю происходящее, что не считаю для себя более возможным выполнять обязанности, не допускающие сомнения и критики. Вам известна моя абсолютная преданность, не раз подтвержденная делами. Могу лишь заверить вас, что полностью уйду в частную жизнь и обязуюсь не говорить и не делать ничего, что могло бы навредить нашему делу...» Память хранила номера банковских счетов, текущие дела, связи с агентами. Д. заметил, что слова «неодобрение», «сомнение» и «критика» (достаточно было бы употребить лишь одно из них...) сводят на нет «абсолютную преданность» и взятое на себя обязательство. Они создавали множество проблем. Это означало осуждение Партии, системы, Организации; человек, осуждающий коллектив, самим фактом своей дерзости ставит себя вне закона. «После всего я перестал бояться смерти». Но сейчас величина риска превращалась в уверенность, а характер риска унижал. Риск ради коллектива не требовал оправданий. Но рисковать ради себя? Он резко сказал себе: «Жизнь ради себя так же бесплодна, как онанизм».

«...Хорошо промариновать в белом вине», – говорил шофер. «Слегка поджаренный лук... долька чеснока... мускатный орех...» Другой, низкий и добродушный голос продолжил комментарии, прерванные прищелкиванием языком: «Это великолепно, месье, уверяю вас!» «Рагу из зайца?» – с улыбкой вмешался Д. «Я вам объясню», – сказал хозяин, у него было открытое и славное лицо. Д. слушал объяснения, не вникая. Как хорошо было бы сердечно пожать руки этим людям, пригласить их в воскресенье в Сюрен вместе отведать божоле! Уплатив по счету, Д. вновь помрачнел. Приближался час встречи с Надин.

* * *

– Сегодня никаких адюльтеров, – улыбнулся Д., когда они оказались одни в чайном салоне, обставленном с неброской роскошью.

Очаровательный изгиб век, сердитая гримаска, четко очерченные яркой красной помадой губы, взгляд украдкой, одновременно агрессивный и робкий, прямодушные юной казачки, только что вышедшей от дорогого парикмахера с улицы Сент-Оноре. Надин подставила ему щеку, но не губы: знак недовольства.

– У тебя все в порядке, Надин? Никто не знает, что ты вернулась в Париж? Ты строго строго следовала моим указаниям?

– Ну да, да. А что ты подумал?

В ее тоне чувствовалось раздражение.

– Ты знаешь, это очень важно.

– Как и всегда, не так ли? Саша, я не люблю, когда ты ведешь себя со мной, как с ребенком.

Он продолжал:

– Это гораздо важнее, чем ты думаешь. Ты никому не звонила?

Официантка приняла заказ: чай с лимоном, пирожные. Что это за люди, подумала она. Иностранцы? Любовники, супруги? Официантка решила, что между ними разрыв, но еще сохраняются какие-то чувства, подобные сахарной пудре на позавчерашних пирожных – и предстоит последний расчёт.

В самые трудные моменты мускулы Д. неуловимо напрягались, по телу пробегал холодок: как будто он копил силы, готовясь к прыжку. Зрачки его сузились. Надин сняла перчатки. Прекрасно зная его, как она считала, Надин сказала:

– Не смотри на меня так, Саша. Думаю, тебе уже не следует учить меня благоразумию. И если я звонила Сильвии, это, надеюсь, не имеет значения?

– Ах, вот как.

Глупейшая ошибка. Канатный плясун поскальзывается на апельсиновой корке, хотя никогда не упадет под грохот барабанов с десятиметровой высоты: перелом голени – вот и конец пляскам. Дерьмо!

– Ты это сделала?

Надин искренне удивилась.

– Я, что теперь, не должна доверять Сильвии? Или за Сильвией следят? Не сходи с ума, Саша.

Он жевал лимонную корку. Ему приходилось отпирываться в путь, пряча ампулу с цианидом, которую он точно также разжевал бы на глазах детективов. Два раза: в Китае, в Германии...

– На чем ты приехала? На машине?

– ...Сменила такси у заставы Майо...

– Хорошо. Надин, постарайся понять меня и не судить. Я подготовил наш отъезд в Америку. Я предусмотрел все, кроме твоего звонка Сильвии... Надин, я выхожу из игры.

В голове Надин проносились обрывки образов и фраз. Когда образ становился невыносимым, она гнала его прочь. Начатая фраза не завершалась, суть понималась с полуслова, чтобы избежать смятения. Все, что ее непосредственно касалось, навечно запечатлевалось в памяти. Отъезд в Америку сам по себе ничего не значит, мы уже столько путешествовали! Но слова «вышел из игры» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Надин вспомнила широкий плоский нос Семена – расстрелянного. Довольно дорогое кольцо из поддельного жемчуга на белой и нервной шее Эльзы – исчезнувшей. Глубокие синеватые круги под глазами Эмми, такими восторженными и одновременно похожими на ее глаза, что она завидовала этой восторженности, которой была лишена – исчезнувшей Эмми, которая любила сладости, парижские наряды, перчатки, фатоватых мужчин. Толстяк Краус, приветствовавший ее на манер старорежимного офицера, щелкнув каблуками, склонившись, целуя руку – нет больше этого упитанного пройдохи, дважды орденосца, бывшего каторжанина и т. д., сгинул без следа. Полуяновы, молодая пара, перед которой, казалось, открывалось прекрасное будущее, удивительно светского вида, говорившие на четырех языках, ставшие настоящими англичанами – расстреляны по непроверенным слухам. Бритоголовый Алексей, участник ужасного дела Плоешти, героически вынесший пытки, шесть месяцев назад покинувший тюрьму – покончил с собой, как говорят, в момент ареста, но возможно, его пристрелили как собаку за то, что пытался оказать сопротивление (потому что по ночам не следует поднимать шума; и если его не избежать, то лучше выстрел из револьвера, чем крики возмущения...). Надин отогнала видения. Те, что уже готовы были появиться, трепетали на краю памяти. Молодой женщине казалось, что она чувствует ужасные испарения, поднимающиеся со дна ямы.

– Как ты осмелился, Саша?

– Я рассуждаю логически. Если бы я выжидал, через какое-то время это бы случилось. Ты понимаешь, что после Крауса, Алексея, Эмми... И они ничего не могли сделать...

Она вспомнила телефонный разговор с Сильвией, и ее охватила тревога. «Да, я приехала из Ниццы, скоро увижу Сашу, завтра в одиннадцать пойду в “Труа Картье”... Из вискозы, Сильветта, двухцветное, розовое с гранатовым, представляешь? С очень глубоким вырезом...» Муж Сильвии – адреса – паспорта – деньги для передачи – выстраивалась такая губительная цепь сопоставлений, что Надин охватила паника и навалились самые ужасные предположения. «Если они убьют его, меня они тоже убьют? Я – это не главное. И у нас так мало денег...»

– Осторожно, – сказал ей Д., – сохраняй спокойствие.

Он улыбнулся слащаво, как артист в роли отрицательного, но очень симпатичного банкира.

– У тебя замечательные перчатки, дорогая.

Он взял этот дурацкий тон, потому что в пустой зал вошла пара, морской офицер и стройная шатенка с профилем левретки. Офицер высшей пробы: по принуждению такими не становятся! Д. опасался неожиданной реакции Надин на произошедшее. Уже десять лет он любил эту женщину, моложе него, эгоистичную, рассудительную, с ловкостью выполнявшую поручения, кажущуюся романтической наедине, смеющуюся порой пьянящим, почти беззвучным смехом, немного наивную в любви, прекрасно сложенную, точно породистое животное... Она восхищалась им, вела себя по-товарищески, от нее исходила доброжелательная и нежная чувственность. В их отношениях не было места предрассудкам.

Повисло молчание. Надин подозвала официантку и попросила ликера.

– Возьми тоже что-нибудь, Саша.

– Спасибо, нет.

В облике Надин появилось что-то новое, это заинтриговало Д.

– Досадно получилось с Сильвией, – произнесла она задумчиво. – Я поступила глупо, прости меня. Если быстро сделать то, что нужно, все будет хорошо... Вероятно. Можешь доверять мне. Ты совершил непоправимое. Думаю, ты ошибся, но я понимаю тебя, это слишком давило. Для меня хуже всего другое.

Откуда этот отстраненный тон, это спокойствие полного краха? И эта твердость на грани слез?

– Саша, мы давно вместе. Ты знаешь, что я по-своему глубоко люблю тебя. Я не всегда понимаю тебя, но порой понимаю очень хорошо. Для меня исчезнуть, уехать теперь – это немного... немного ужасно.

– Странное сочетание: «немного» и «ужасно», – сказал он, внимательно глядя на нее.

Она слегка коснулась пальцами его руки, лежащей на скатерти.

– ...Я люблю одного человека, иначе, чем тебя. Я была очень счастлива. И не хотела ни скрывать это от тебя, ни причинять тебе боль. У нас все останется как прежде – если хочешь. Я не мыслю себя без тебя, Саша... Но люблю другого. Это не мешает мне быть твоей. Ты должен понять... А теперь, теперь...

Союз двоих либо свободен, либо ущемлен. Лишь разум господствует над сексуальностью, уделяя ей то место, которое она требует. Если она преодолена, остаются ум и воля. Человеческий механизм нуждается в хорошем контроле, который у физиологов – или моралистов – принято называть торможением. Торможение ослабляет так же, как распущенность. Ревность – пережиток нравов прошлого (которые мы преодолели), связанных с господством мужчины над женщиной, с частной собственностью. Моральная гигиена, физическая гигиена... Пара: союз свободных существ, основанный на взаимопонимании в борьбе... Все это давно известно, замусолено выступавшими в молодежных кружках так, что проникло в каждое нервное окончание... По крайней мере, несколько секунд назад Д. в это верил. Они жили ограниченными, выхолощенными понятиями, подобными засушенным растениям в гербарии. Он в растерян-

ности еще пытался держаться за эти рухнувшие клише. «Однако, дело плохо...» И уже четыре часа, нельзя терять времени.

– Кто? Один из наших?

Он задал второй вопрос лишь для того, чтобы оправдать первый. И какая разница, в конце концов? И твои дела плохи, Надин, тем хуже для тебя. Придется страдать. (Он едва сдержал усмешку.) Теперь мы оба гонимы. Его вдруг пронзила мысль, что, в крайнем случае, – в любой момент, – она может его предать. Не следует многого требовать от женщин: ведь тысячелетиями они находились в подчиненном положении.

– Кто?

– Я не могу тебе сказать. Прости меня. Это невозможно. Я сделаю все, что нужно, мы уедем, когда захочешь. Но я...

В нем закипал гнев. Кто?

– Мне необходимо знать это, чтобы принять предосторожности.

– Я не могу. Уверяю, тебе нечего опасаться с этой стороны...

«Со стороны плоти», – с горечью подумал он и представил себе скульптурное тело Надин, ее слегка выпуклый лобок, густые вьющиеся волосы, чуть светлее, чем на голове... «Это красиво, – говорил он ей порой, – так же очаровательно, как твое лицо». Отогнать эти образы. Надин выглядела такой несчастной и растерянной, что ему стало стыдно охватившего его инстинкта, который затмил все остальное.

– Хорошо, Надин. Будем считать, что мне это безразлично. Мне лишь трудно в это поверить. Я настаиваю лишь на необходимых предосторожностях. Никаких прощаний. Ни писем, ничего.

(Он подумал, что это чревато массой неудобств.)

– Мы подвергаемся огромной опасности, понимаешь. Я подготовил твой новый паспорт, получил визу, забронировал купе. Следуй всем моим указаниям. Мы отправляемся седьмого. Пойдем.

Это лицемерное спокойствие дорого ему стоило. Опрокинуть чайный столик, поссориться с морским офицером, набить ему морду – непозволительные удовольствия! Он высадил Надин из машины неподалеку от буржуазного пансиона (за ним наверняка следили) на улице Амстердам, где она жила и который должна была покинуть сегодня вечером. «Ты скажешь, что отправляешься в путешествие, оставишь все в порядке, как будто должна вернуться, затем отправишь письмо из Лондона, чтобы не беспокоились о твоём исчезновении. Осторожно с фотографиями, ладно? Я буду ждать тебя после девяти часов. Учти, за тобой могут следить, это смертельно опасно...» Все сказано, они сидели рядом, не касаясь друг друга, и хранили молчание, словно в тумане. Д. спрашивал себя: «Кто? Один из наших? Неизвестный, с которым познакомилась в поезде, на пляже, в пансионе? Жалкая жизнь: расставания и торопливые встречи... Не хочу заикливаться на этом. К черту. Довольно. Кончено. – Но кто?» Надин взяла его за руку.

– Я сделала тебе очень больно? Я не думала, что...

Как удобно не думать, что...

– Я ничего не знаю об этом. Со мной все в порядке. Только озабочен – особенно из-за твоей неосторожности. Все уладится... До скорого.

Авто проехало мимо пансиона. Продавец газет, прислонившийся к стене, не понравился Д. «Он всегда здесь?» «Я... Я не думаю... Насколько помню, он стоял ниже, возле торговца бельем...»

– До свидания, Саша. Не нервничай.

Надин подставила ему щеку. Он холодно поцеловал ее.

Надин вышла из машины.

* * *

Это было после долгого пребывания в Поднебесной, в деревне Синкян, если только несколько лачуг, сбившихся среди засохшей грязи вокруг колодца на краю бесплодной степи, можно назвать деревней. Я умирал, созерцая Крышу Мира, и на пороге смерти простые вещи казались мне символами разоренного континента. Маленький желтолицый человечек в каракулевой шапке, с треугольным лицом, с непроницаемыми зрачками в щелях век, укrywшийся в руинах, поразил меня остроконечной японской пулей. Я любил руины. После расшифровки депеш и шифрования отчетов, после церемонных бесед со стариками в тюрбанах и полосатых халатах, почтенными, изворотливыми и скаредными, и молодыми знатными лицами, жирными, гомосексуальными, неизменно улыбающимися, осторожными и лживыми; после чаепитий, саламалейкумов, соглашений, которые ни мы, ни они не собирались соблюдать; после многочасовых размышлений о вероятном предательстве, возможных ловушках, идущих по следу в предрассветной свежести бандах, я выходил из низкой глинобитной хижины. Сначала я шел к Н'га, который следил за водой. В голубоватой белизне на поверхности полных чистой воды кувшинов выступали капельки. Никто не смел приближаться к этой воде, которую Н'га сам доставал из колодца. Местные жители знали о существовании ядов, от которых нет противоядия и которые за несколько недель сводят человека в могилу. Слизистая оболочка синее, зубы качаются, хочется спать, все время спать, и слабо ноют кости... Н'га был мне предан. Под белыми одеждами у него было тело эфеба, призванного услаждать вельмож, он резко посвистывал на своей дудочке, играл сам с собой в кости и смеялся как маленькая девочка, когда выпадал выигрыш. Я выходил его после перенесенных пыток, очистил от блох и вшей, очистил от страха. Он любил меня как раб, об этом говорили его красивые невыразительные глаза; несомненно, его удивляло, почему Великий Белый Человек из Страны Медведей не желает его ласк. Для общения мы почти не нуждались в словах. Я спросил:

– Вода чистая, мой верный Н'га?

Своим музыкальным голосом он всегда торжественно отвечал стихом:

– Вода утоляет жажду мудреца, розы, невесты...

Мою жажду вода утолила, разумеется, не по этой причине, но я с удовольствием ощутил вкус талого снега. Одиночество преисполняло меня горечью, и я иронически переиначил стих: «Та же вода утоляет жажду ядовитого растения, сифилитички, предателя и палача», – четыре рода существ, которых я избегал.

Возле Н'га на ящике консервов лежали кривой нож и револьвер.

Я прошел по узкой улочке, залитой красноватым светом заходящего солнца. Старые приземистые стены, редкие низкие двери, ведущие к другим стенам. Кругом лежали застывшие пески, давным-давно омытые потоками крови. От жары воздух казался шершавым. Когда поднимался ветер, песок резал глаза, хрустел на зубах, прилипал к телу под одеждой. Улочка резко обрывалась перед руслом высохшего потока. Удивительные чахлые кактусы, вопреки засухе цепляющиеся за жизнь и защищающие ее при помощи своих острых колючек, росли среди фиолетовых камней, под которыми гнездились скорпионы. Какое-то неведомое бедствие недавно погубило всех ящериц – или они бежали, спасаясь от грозящей опасности. А ведь шел Год Ящерицы! Небо над линией горизонта было удивительно прозрачным. Порой в морозные дни можно было невооруженным глазом увидеть детали одежды всадника, скачущего на расстоянии нескольких километров. Я направлялся к руинам. Какой предок или потомок Тимура в знак своего величия приказал воздвигнуть посреди исчезнувшего оазиса пирамиду отрубленных голов? Кочевая цивилизация в поисках новых пастбищ уничтожала посевы и земледельцев... Мрачные руины, уже остывающие, все еще излучали обманчивое тепло. Город, крепость, могильник? Могилы часто менее подвержены влиянию времени, у них есть время, они

говорят с людьми через века о бренности всего сущего. Остатки стены, выложенной из синих и бурых камней, казались древнее самой пустыни. Они говорили со мной своим подавленным, подавляющим языком, языком сна наяву. Оживали в моих ночных видениях, их окружали европейские тополя, здания феерически медленно росли, открывались портики, слышалось журчание реки. Валентина легким шагом спускалась по лестнице черного мрамора, окутанная тихой радостью, ее улыбка обрывалась стрекотанием пулемета, и я просыпался. Кажется, такое снилось мне не раз... Психологи называют это сном осуществления желаний, и, быть может, я приходил к руинам в поисках завершенности смутных воспоминаний, которую не мог обрести. Квадратная дверь, полузасыпанная песком, вызывала беспокойство. Мне хотелось войти в нее, но пришлось бы ползти, а я боялся змей, скорпионов, моя жизнь мне не принадлежала, это было бы просто ребячеством. Что могло находиться за этой дверью, перед которой я замедлял шаг? Я рассмеялся над самим собой, так смеются в бреду или пытаюсь подавить страх – или испытал безумное, невысказанное откровение. Эти руины дотюркские, домонгольские или более позднего времени? Что значит время, что значат годы? Если бы у меня был справочник по археологии, а бы с удовольствием вырывал из него страницу за страницей и развеивал клочки по ветру над этими руинами.

В тот раз, когда я возвращался со своей обычной прогулки, меня пронзила пуля какого-то монгола или тюрка. Стрелок убежал по высохшему руслу реки, оборачиваясь, словно преследуемая лисица. Я не испытывал ни боли, ни гнева. Мог бы выстрелить в него, но не хотел. Я приложил к ране носовой платок. Н'га обработал рану, а затем положил свои красивые руки мне на грудь, прислушиваясь к сердцебиению. «Крепкое сердце!» – сказал я, я был горд этим и кроме того, взгляд дочери Н'га понравился мне и одновременно оттолкнул своим смирением. Усталость сморила меня. День был жарким. Я уснул, а две прохладные руки остались лежать на моей груди.

Должно быть, спал я долго. Сон перешел в бред, меня одолели видения, иная, безумная реальность. Это было великолепно. Жар, раскаливший старые камни, проникал в светлую комнату; солнце, пустыня, лихорадка овладели мной, пылая неярким белым пламенем; и порой я словно купался в свежести, чистой радости, ощущении дружбы и любви без эгоизма – чувств, по правде говоря, ранее мне неведомых. Если бы я разбудил свои воспоминания, то обнаружил бы там мало счастья и безмятежности, зато много горечи, суровой экзальтации, тяжкий труд, голод, грязь, опасности, минуты, режущие, словно удары ножа; множество тех, кого любил и кого потерял, черты которых память не в силах оживить (ибо многие из них были лучше меня), женщины на одну ночь, или на один сезон, и та, которую я считал своей первой любовью, бросила меня, когда я оказался в тюрьме, и другая, которая была верна мне и умерла от тифа в голодную зиму, и я приехал слишком поздно, преодолев пять сотен заснеженных километров, и так и не увидел ее; у меня от нее ничего не осталось, соседи украли подстилку с кровати, на которой она умирала, саму кровать, четыре наши книги, даже зубную щетку. Я вспомнил бородатых молчаливых мужчин, женщин с ожесточившимися лицами, детей, грызущих ногти и сказал им: «Граждане! Вы ничего не украли. Вы взяли то, что вам принадлежит. Имущество умерших принадлежит живым и прежде всего, самым бедным. А мы едва выжили! Мы живем ради будущего...» Не так надо было говорить. Некоторые подошли пожать мне руку и сказали: «Спасибо, гражданин, за добрые, человеческие слова. Хочешь, мы что-нибудь тебе вернем?» Я крикнул: НИЧЕГО! – и именно тогда понял величие этого слова. Я подумал, что все слова человечны, даже самые ужасные, и что потом не остается ничего. Меня охватил безутешный гнев против бесчеловечности смерти. «Биологическое явление! – повторял я себе. – Валентина, где ты?» Я жалел, что не было отпевания в церкви. Биология небытия! Я терял рассудок. Открывал словари и читал статьи «Смерть». Энциклопедия гласила: «Прекращения жизненных функций, распад организма...» Эти печатные строки были мертвы. Материалист, я, стыдясь, открывал другие тома, статью «Вечность». Такие же мертвые фразы... Вот, что я носил в

себе, в нервных окончаниях, где запечатлены воспоминания. И все же дни бреда были удивительно ясны, наполнены – прошлым, где не было места смерти, беспорядочными озарениями, верными мыслями, струившимися как ручьи – остальное милостиво скрывал мрак. Валентина была со мной, когда я хотел, мы были вместе так, как это невозможно на земле, соединившись в счастье и покое, покое! Бред служил мне утешением за прожитую жизнь. Не знаю, как долго он продолжался, я существовал вне времени. Порой я узнавал окружающую реальность, но она была неясной, зыбкой, я ощупывал под головой портфель с секретными бумагами, спрашивал, чиста ли вода, слышал ответ: «Мудрец, роза, невеста...» – и совершенно спокойно сознавал, что умираю. Спросил Н'га: «Самолеты пролетели?» – «Семь», – ответили его белые пальцы. Для запланированной операции больше и не требовалось. Н'га подносил ко мне зеркало, и я, будто со стороны, разглядывал рану на своей груди, огромную, розовую, роза, невеста, мудрец – гноящуюся, отвратительный, бесформенный цветок плоти, пожиравший меня... Нет, пожиравший кого-то другого, розу, невесту, смерть, биологию, вечность, Энциклопедию! «Какое странное счастье», – думал я и опускал веки, возвращаясь в бред.

Я вновь открыл глаза. Может, открыл уже давно, но мне понадобилось усилие, чтобы вернуться из другой, конечной и бесплодной реальности. Низкий потолок, испещренный зеленоватыми бороздками... Миска с перевязочными материалами. Пестрый паук на стене... Вошла служанка, приземистая, с двумя спиралями кос вокруг ушей, украшенных большими серебряными кольцами. Она ходила по комнате, я заметил ее внимательный взгляд, устремленный – на что? Паук тоже наблюдал за ней. Я хотел позвать Н'га, но не мог ни пошевелиться, ни раскрыть рта. Отчего я так волновался, когда уже нечего было бояться и желать? Служанка схватила мой портфель, и потихоньку, потихоньку понесла его к двери, портфель, в котором лежали самые ценные вещи: чай, сахар, спички, папиросы, мыло, научное издание «Манифеста»... «Воровка! Воровка! Сволочь!». Я вопил, а коренастая девица ничего не слышала, я понял, что кричал лишь мой мозг и крик его был *ничем*. Значит, мысль, воля – из сферы небытия? Револьвер под подушкой – мой мозг знал о нем, но мозг без рук – ничто, я сам – *Ничто*. Прежде чем вынести портфель, внимательно посмотрела мне в глаза. Взгляд ее узких глаз был тревожен, остер как у выглядывающего из чаши зверька. Мой гнев утих. Бери портфель, ловкая тварь, женщина-куница, если его содержимое поможет согреть зимой твое логово, паук ничего не видел. Я вернулся в места детства: прямые камыши, в которых отец прятал свою лодку, охотясь на диких лисиц.

Из руин возник Антон в белом шелковом, шитом золотом наряде, как у персидских князей на миниатюрах. Копыта его скакуна так легко касались камней мертвого города, словно конь был крылат. Антон на крылатом коне! Я рассмеялся. Ах, ты считаешь, это невозможно? Конечно, нет, Антон. Внезапно я увидел его другим: плоское лицо, очки странной ромбовидной формы, больничный халат, в руках шприц. Н'га обеими руками держал что-то ярко-красное, как будто пойманную птицу – смотри, они вырвали сердце из моей груди, вот черт! Нет, это был какой-то пузырек. Антон сказал:

– Спасен, наконец. Доставил ты мне хлопот, мерзавец! Черт возьми! Ну, приди же в себя. Спектакль окончен. По морде, что ли, хочешь?

– Нет у меня больше морды... Но, что происходит? Откуда ты?

– Это ты вернулся издалека, братец. Я прилетел четыре дня назад. Выпей глоток кофе со сливками. Я привез тебе известия от командования. Ты получил награду, скотина.

– Мне все равно.

– Нет, не все равно. Ты задержал работу.

Я еще находился между двумя мирами. Слова «задержал работу» полностью привели меня в чувство. Ловко, Антон. «Как Маня?» – спросил я вяло. «С тех пор, как она тебя бросила, она уже в третий раз вышла замуж. Дурнеет на глазах. Настоящая верблюдница, братец. Пей еще кофе».

В Университете я любил Антона. Мы проводили время в спорах. Он выдумывал биологический марксизм или марксистскую биологию, диалектику и т. п. Смеялся над старыми романтиками, верившими в любовь. «Пара, – изрекал он с невыносимой безапелляционностью, – это непременно дрянная мелодрама, замешанная на физио-психологических недоразумениях... и социальных тоже... Большинство женщин – болтливые создания с птичьими мозгами... Результат ста тысяч лет домашней эксплуатации...». Тип фанатика, прикрывающего напускным цинизмом... Что теперь с Антоном? Его ценили члены тогдашнего правительства, он, должно быть, последовал за ними в могилу, как сам и предчувствовал: «Мы построили, – говорил он с неизменным сарказмом, – колоссальную адскую машину улучшенной модификации, и легли прямо на нее в надежде сладко поспать... С лавровыми веночками из красной бумаги на голове... Вот так!» От него остались лишь мои воспоминания... (Скоро у меня будет время на распутывание воспоминаний... Антон заявлял, что нужно хранить в памяти только полезное: «Поставить живую память на службу активной деятельности...». Какова польза от твоей памяти, бедный мой Антон?)

Эта тревога, заставившая вспомнить тебя, Антон, вызвана Надин. Надин, прямолинейная, сильная, живущая инстинктами. Права она, а не я, – инстинкты в итоге всегда оправдываются... Каждый из нас со знанием дела строит себе ловушку; а когда попадает в нее, удивляется...

* * *

Надин разожгла сильный огонь в камине; в комнате стало уютнее. Надин бросила в огонь письма, фотографии, несколько паспортов. Ее волнение сменилось опустошенным спокойствием. Две беды сразу, одна смехотворная, другая почти невыносимая, и именно смехотворная заставляла сильнее страдать, как будто резала по живому. «Саша решил только на исходе двенадцатого часа, потому что мы оказались в аду...» Уже два года Надин боялась читать газеты, получать письма, произносить некоторые имена, даже думать о них, сомневаться вопреки себе в совершенно абсурдных обвинениях, не показать, будто всей душой одобряет непоправимое. Заговоры походили на дьявольский хоровод. Вначале она, как и все вокруг, верила в них; затем хотела поверить в невероятное; затем делала вид, что верит; а по ночам рыдала в подушку. Саша, опасавшийся оставаться наедине, предпочитавший, как она чувствовала, в одиночку нести бремя своей невидимой другими драмы, отправлял ее, то в Мон-Сен-Мишель, то в Ниццу, в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен под предлогом: «Успокой нервы, малышка, мне легче одному противостоять всем этим неприятностям...» На берегу моря Надин пыталась читать Пруста, очень проникновенные романы, но в чем заключалась цель жизни всех этих персонажей? Она гуляла по пляжу в компании американок, английского боксера, одетых, будто с иголки мужчин, настроенных на игривый манер – эти люди также не имели цели в жизни, ни на что не годились, жалкие и смешные, и только ирония спасала ее от полного разочарования. Она участвовала в охоте на голубей. Одеваться в белый фланелевый костюм, чтобы стрелять в птиц, какое извращение! Это разрывало ей сердце. Она чувствовала себя хорошо лишь с томиком Золя в маленьких рыбацких портах.

Саша не хотел видеть ее, чтобы не встречать взгляды, исполненные тоски, которая терзала и его самого. «Но что все-таки происходит? Ведь все эти конченные люди были надежны, умны, неподкупны? К чему мы идем? Я перестаю понимать, я скоро уже не смогу ничему верить...» Он произнес лишь несколько коротких фраз, но с таким выражением, которое ей никогда не забыть. Это произошло во время их невеселой ночи в Жуан-ле-Пен. Саша удалил ее из Парижа. «Держись от работы как можно дальше, мы переживаем очень тяжелые времена», – и это могло означать только одно: «Я не хочу, чтобы ты погибла...» Тщетная предосторожность... Время от времени он телеграммой назначал ей встречу: два-три дня на при-

роде, две-три ночи любви. Дела, должно быть, шли совсем плохо, потому что, приехав в Жуан-ле-Пен, он не мог расслабиться, и когда она, обнаженная, легла возле него, он не заметил ни ее новых духов, ни новых сережек с белой эмалью – ни даже того, что тело ее стало более упругим после массажа и водных процедур. Вместо любви начался разговор – рубленые, ледяные фразы, недомолвки. «Нет, милая, я вовсе не в плохом настроении...» «Тогда посмотри на меня, Саша, не отводи глаза. Ты любишь меня?» Стыд комком подкатил к горлу Надин, но он этого не заметил. «Мне стало известно, что вчера исчезли трое...» Он назвал три имени. «Расстреляны?» – произнесла Надин. «Да, наверно. Ты хочешь расставить все точки над i...» «Но за что, за что? До каких пор это будет продолжаться?» Надин натянула одеяло на плечи, ей было стыдно за эти ни к чему не годные «за что?». Он потушил папиросу о подушку, проделав в ней маленькую черную дырку, похожую на пулевое отверстие. Это сходство вызвало у него ухмылку. «За что, глупая! За то, что они были стары, известны, закалены в огне. За то, что они колебались, за то, что знали столько же, сколько и я...» Он глотнул виски прямо из горла. Их тела сблизилась без страсти, Надин сдержала дрожь, они не хотели друг друга. Саша пребывал в тяжких раздумьях, устремив глаза в потолок. Надин подумала (она была уверена, что только подумала): «А ты? А мы?» Он ответил: «С нами будет то же, что и с другими. Идет лавина, мы у нее на пути. Мы не в счет». Надин уже не скрывала дрожи. «Нужно бежать, Саша, бежать куда угодно...» Лишь после долгого молчания Саша твердо ответил: «Не говори глупостей. Бежать значит предать. Мне предать? Чтобы спасти свою шкуру, твою красивую шкуру, да? А что потом? Этот старый мир, который мы ненавидим? Передай мне виски.» Им пришлось выпить, чтобы заснуть... Теперь открытки из Жуан-ле-Пен отправились в огонь.

Другая беда, менее серьезная по сравнению с этой, терзала как открытая рана. Никакой встречи завтра, никогда больше не видеть эти молодые одухотворенные глаза, немного суровый рот, худощавое спортивное тело, неловкие, но проворные руки, не слышать бодрый голос, почти не меняющийся, потому, что природная веселость придавала ему грубоватую теплоту... Для него практически не существует проблем, лишь действительность, как он ее видит, никаких тайн в многомерном мире, где разные измерения противоречат друг другу! В книгах написано, что надо просто отдаваться тому, кто нравится, даже без любви, что минутные удовольствия надо пить как бокал шампанского – и я действительно не люблю его, этого большого ребенка, возомнившего себя мужчиной, да, не люблю, не могу не замечать его глупой наивности... Тогда что это такое? Одна из форм любви, простая как прогулка на свежем воздухе, может быть. – Мы не созданы для прогулок на свежем воздухе, скорее уж, для продвижения во мраке туннеля! Вырвать с корнем эту привязанность, после которой останется лишь ноющая боль; так иногда болит отрезанная рука. Глаза Надин наполнились слезами. У нее оставались от него лишь две написанные размашистым почерком записки, грубовато подписанные «Т» – Твой. Она прижала их к губам, прежде чем бросить в огонь. Она укладывала уцелевшие вещи в переносной чемоданчик, когда в запертую на задвижку дверь постучали. Тревожное постукивание привело Надин в себя, которая двумя мягкими прыжками подскочила к двери.

– Да... Кто?

– Мадам... Мадам, вас просят к телефону. – Кольцо опасности смыкалось, перехватывая дыхание.

– Скажите, что меня нет... Что я ушла и вернусь позднее.

– Да, мадам, хорошо, мадам.

Плохо, плохо, очень плохо... Забота прогнала тоску. Надин надела зеленый бархатный берет и новый костюм, который носила очень редко, чтобы ее труднее было узнать на улице. Машинальным движением подкрасила губы, постоянно прислушиваясь. Комната стала казаться хуже тюремной камеры. В конце коридора вновь зазвонил телефон. Надин услышала, как горничная ответила: «Мадам еще не вернулась, месье, она будет не раньше полуночи, месье...» Это «месье» отдалось в ушах мрачным жужжанием. Кто? Кто может звонить? Саша?

Значит, у него есть серьезные причины. Тот, другой, не знает ее телефона... От Сильвии? Охота началась? Животный страх холодом сковал тело Надин. Она взглянула в зеркало, широкоскулое похудевшее лицо с резкими чертами, на котором отражалось единственной стремление – бежать. Она вызвала горничную.

– Этот господин звонил четыре раза, я все время отвечала одно и то же, как вы просили, мадам.

Горничная была хорошенькой южанкой с непроницаемо-лицемерным взглядом. Не наблюдала ли она внимательно за Надин из-под полуопущенных длинный и прямых ресниц? Слуг подкупают, это же элементарно! Надин рассеянно улыбнулась. Сказать что-нибудь естественным и решительным тоном, прорвать молчание, отвлечь внимание девушки. Надин произнесла нарочито вульгарным тоном, который не мог скрыть ее тревоги:

– У вас были любовники, Селина? Нет? Ну, значит будут. Вы поймете, что это такое. Звонит мой любовник, я хочу с ним расстаться, понимаете? На это есть причины.

– ...Да, мадам.

– Я отправляюсь в путешествие...

– Да, я вижу, мадам, это, должно быть, нелегко, мадам.

Надин открыла сумочку и достала купюру, которую вложила в руку горничной.

– Вы будете молчать, не так ли? Это никого не касается.

– Да, конечно, мадам.

На воздух, на воздух, я уже не знаю, что делаю. Лифт.

Скорее на улицу. Полумрак коридора, комната, сожженные бумаги, телефон, Селина, их бредовый разговор – все развеялось. Надин шагнула в сторону и оглядела улицу. Напротив двери цветочница – продающая хризантемы – поставила свою корзину на тротуар. Проехал автобус, прошла мимо пара, совсем юная, они разговаривали быстро, и казалось раздраженно. На мокром тротуаре отражались изменчивые красные и желтые огни. Улица манила: броситься в нее и затеряться.

Надин пошла быстрым решительным шагом, не желая сразу останавливать такси. Сначала собралась с мыслями. Перед витриной обувного магазина она остановилась: зеркала позволяли наблюдать то, что происходит сзади, не оборачиваясь. Вроде ничего подозрительного, но в девять вечера на улицах Парижа столько народу... Немного успокоившись, Надин свернула за угол. Кто-то так быстро шел ей навстречу, что они едва не столкнулись. «Извините... Ален? Ты!»

Ален крепко пожал ей руку. Его рука была теплой.

– Какая удача, – сказал он голосом, в которой ей послышалась фальшь. – Какая встреча, однако! Ты торопишься?

Он старался говорить ласково, но удавалось это с трудом. Слишком честный, он не мог найти тех интимных слов, которые в его устах звучали с такой чистотой. Надин думала: сохранять ясную голову, вести себя просто, невозможно, чтобы он уже все знал. Он не знает Сильвию, зато связан с Муженом, с Б., с Р. Б. и Р. узнают обо всем только спустя некоторое время, может, от них вообще скроют произошедшее, чтобы не пугать одного и не расстраивать другого. В ушах Надин еще слышались телефонные звонки. «Это мой любовник», – сказала она тогда, отвечая своей тайной тревоге. Она спросила:

– Ты мне звонил?

И по тому, как он ответил: «Нет, я не знаю твоего номера», – она поняла, что он лжет. Значит, он в курсе. Значит, караулил ее за углом. И, видно, не один, кто-то еще следил за улицей, пока он звонил из бара. Сильная рука, сжавшая ее кисть, беспокоила Надин, она пожалела, что не свернула в ближайший переулок, немногочисленный, плохо освещенный, выходящий на темную площадь, на которой за железной решеткой стоял заброшенного вида особняк. Тихое

шуршание шин заставило Надин оглянуться. За ними медленно, очень близко ехала черная машина.

– Перейдем на другую сторону, – сказала Надин. – И отпусти меня. Тебе известно, что нельзя подходить на улице, это нарушение правил.

Высвободив руку, она почувствовала себя увереннее. Навстречу им шли две дамы в сопровождении господина. Ален не возражал, и они перешли проезжую часть: движение было двусторонним, черное авто не могло приблизиться к противоположному тротуару. Страх проник в душу и тело Надин: таинственная машина заставила мускулы собраться, ибо они реагируют быстрее, чем мозг. В тринадцать лет Надин сражалась в партизанском отряде, однажды они обороняли берег реки, понимая, что вместе со всадниками с другого берега могут прийти пытки и смерть. Шашки и нагайки. В те далекие дни Надин знала, что если попадет в плен, будет изнасилована, избита, возможно повешена. Она видела женщин и девочек своего возраста, висящих на деревьях в одних рубашках, не скрывающих покрытые грязью и странными фиолетовыми пятнами тела, высунув распухшие языки, над ними роились мухи. Лежа у кромки воды, скрытая кустарником, прямо на мокрой траве, девочка Надя внимательно следила за крупным силуэтом, отделявшимся от покатого противоположного берега реки. Когда кентавр распался как сломанная игрушка, человек падал, испуганный конь бросался в воду, девочка Надя радостно кляла поверженного противника: «Не возьмешь меня, черт рогатый!» Такая школа делает сильнее. В ее сумочке лежал дамский браунинг-игрушка. Небрежно, кончиками пальцев, она открыла замок сумочки. (Если он заметит, тем хуже!) Вывеска кафе-молочной теплым светом озаряла тротуар. Надин остановилась. Авто проехало мимо. Из расположенного за молочной плохо освещенного бистро доносился гул голосов. В глубине залы нестройный хор выводил припев глупой, но веселой, как крепкое вино песенки:

Женщина в белом,
В белом,
В белом!
Ох, ох, ох! Ах, ах, ах!

– Развлекаются, – с грустной усмешкой прошептал Ален.

Надин чувствовала себя совершенно чужой ему, будто не было страстных объятий. Враг. Постараться смягчить голос.

– Послушай, малыш, ты несерьезен. Это неблагоприятно. Мы завтра увидимся, ты же знаешь.

– Ты прекрасно знаешь, что мы не увидимся ни завтра, ни когда-либо вообще. Твой муж предатель.

Продолжение их диалога напоминало реплики дурной пьесы. «Ты с ума сошел? О чем ты говоришь!» «Он сам сказал мне сегодня утром.»

«Нет, ты сошел с ума. Это невозможно, я тебе не верю...» «Ах, не веришь, не веришь! Ты с ним виделась?»

«Нет».

Эта ложь в устах Надин прозвучала искренне.

«Нет? Значит, ты еще не знаешь? Послушай, Надин, послушай, милая, у меня голова кругом идет, я сам себе не верю, земля уходит из-под ног! Он! Я подумал было, что это какая-то маскировка. Побежал к Мужену, он уже знал. Твой муж предатель. Ты не должна быть с ним».

Песня о женщине в белом, в белом, в белом перекрыла взволнованный голос молодого человека. «Я не должна страдать из-за него, – подумала Надин, – большой ребенок, который ничего не знает, не понимает, не желает видеть...» Обхватить руками его голову, поцеловать в глаза, сказать: «Бедный мой милый, это так ужасно, успокойся, не суди. Саша никогда не

предаст, он страдает больше тебя, больше, чем мертвые, ибо совесть его не может молчать... Вот в чем все его преступление.» Она полными слез глазами посмотрела на Алена:

– Какой ты красивый, Алэн.

Но она видела, что черное авто остановилось в дюжине шагов от них. Из него никто не вышел, на улице, к счастью, было много прохожих, вдалеке даже виднелся полицейский, похожий в своем мундире на каменное изваяние. Она произнесла четко, как если бы передала заученное наизусть послание; Алэн знал эту манеру, ведь они работали вместе:

– Я тебе не верю, Алэн. Ты говоришь совершенно безумные вещи. Я выясню это... что это за дурацкие слухи. Может, Сашу оклеветали... Мы завтра увидимся. Оставь меня и успокойся.

Он тоже долго смотрел на черное авто (пауза показалась ему бесконечной); повернул голову, увидел полицейского, оглядел прохожих – некоторые из них, быть может, только ждали условного знака. Дверь быстро открылась, выпустив несколько парочек, которые смеялись и слегка покачивались после банкета. Мужчина обнимал полное тело женщины в шелковом бордовом платье. «В белом, в белом, в белом, женьщи-ина!» Надин воспользовалась момента и почти прокричала:

– Уходи!

Резко повернувшись, она почти побежала прочь. Позади слышались торопливые шаги, женские каблуки стучали по мостовой, она искала в сумочке браунинг, ерунда, но все же лучше, чем ничего, можно, по крайней мере, поднять шум... Это была всего лишь возвращавшаяся с банкета пара. Они, покачиваясь шли вдоль стены, мужчина обнимал женщину за шею. При свете фонаря Надин увидела помятые и бледные лица. Эти вне подозрений! Браунинг не понадобился. Через долю секунды Надин была уже возле полицейского. Помятые лица качнулись в сторону. Из горла Надин вырвался смех облегчения, как в прошлом, когда просвистевшая пуля сбросила конника в зеленую воду Урала. Но неожиданно смех оборвался, словно черный камень шлепнулся в лужу. А что, если это не настоящий полицейский? Запросто. У него добродушное красное лицо пропойцы, но это еще ничего не доказывает.

Эта улица была более освещенной и оживленной. Рядом тронулся с места автобус. Надин вскочила на подножку, чемодан и сумочка стесняли движения, она потеряла равновесие, пытаясь поднять отгораживающую салон цепочку. Кто-то подхватил ее за локоть, поднял, уступил место. «Так, мадемуазель, можно испортить себе личико... А это было бы досадно, знаете ли...» Улыбающееся лицо мужчины странно вытянулось, когда вместо своего маленького черного портмоне Надин, с застывшим взглядом синих глаз, достала из сумочки дамский браунинг. Мужчина тихо шепнул ей: «Уберите обратно эту игрушку». Надин закрыла сумочку и рассмеялась. «Ах, черт! Вы его так любите, мадемуазель, а он негодяй?» Она заметила полный выбритый подбородок, циничные и одновременно ласковые карие глаза, галстук в золотистую полоску. «Нет, – сказала она непринужденно, – но женщины иногда ведут себя очень глупо. Вот и все». Автобус пробирался по залитой огнями Гаврской площади.

* * *

В гостинице на улице Рошешуар Надин подошла к портье. «Я мадам Ноэми Баттисти», – уверенно произнесла она. Портье занимался другими постояльцами, но искоса посмотрел на Надин с едва заметным неодобрением. «Номер 17, четвертый этаж налево, воспользуйтесь лифтом, мадам». Надин взглянула на него с деланным безразличием, но внимательно, это придало ей какое-то нечаянное очарование. «Эта малютка врет как дышит, да-да, – подумал портье Гобфен, – или я чего-то не понимаю. А месье Баттисти-то рогат».

Саша открыл Надин, повернув ключ.

– Почему ты снял номер в этой лавочке, Саша? Портье – какой-то кашляющий осведомитель, это точно, или тайный сводник, что тоже вероятно...

Саша рассмеялся и спокойно обнял Надин.

– В мире полно мелких негодяев, их не стоит воспринимать всерьез. Здесь довольно чисто и недорого. Каждую ночь квартал заполняется народом. Если меня будут искать, то скорее уж на Левом берегу или в районе площади Этуаль.

Симметрия лица Надин нарушилась, будто он смотрел на нее сквозь поток воды.

– Ну ладно, не буду больше думать об этом голубчике внизу... Но этот женский смех за стеной. Здесь пахнет нехорошими делами...

– И женщинами, – пожал он плечами.

Надин отстранилась от него, бросила сумку на одну из параллельно стоящих кроватей, так неловко, что браунинг выскользнул на желтое стеганое одеяло. Саша поднял его, положил обратно, заметив на синеватой стали свежие отпечатки пальцев.

– Ага, ты с ним игралась? Что-то случилось?

– Я испугалась. Нет, не совсем так, мне только теперь по-настоящему страшно. И эта подлая похоронная рожа сводника внизу, и эти потертые ковры в коридоре...

– Сводник – еще может быть, – попытался урезонить ее Саша, – но уж точно не могильщик. Не преувеличивай.

Надин резко провела руками по лицу, стремясь стереть воспоминания о темной улице, черной машине, покачивающихся, враждебных лицах, опасности. Потом подняла глаза, расширившиеся, с нехорошим блеском.

– ...Они пели «Женщина в розовом, в розовом», нет, «в белом, в белом»... Я думала, все кончено... Кончено для меня...

И более спокойно добавила:

– ...Что я тебя больше не увижу... Ах, мне уже лучше...

Две стоявшие на столе лампы отбрасывали теплый свет, окруженный враждебной тьмой. Саша зажег верхнее освещение: три анемичных светильника в форме розовых тюльпанов. Не свет, а желто-розовый туман заполнил комнату. Сидевшая на кровати Надин отвернулась. На шее пульсировала жилка, волосы слегка подрагивали. Он видел в зеркале отражение ее спины, опущенные плечи, вытянутую руку, ладонью опершуюся на покрывало... В этой шее, плечах, руках, во всем ее облике он увидел страх и, быть может, нечто хуже страха. Затем преодолел смутное раздражение и заговорил бодрым голосом: «Ну вот, Надин, теперь нам нечего бояться... Ты кого-то встретила?» (Подозрение.) «Мы же давние друзья, ты можешь все рассказать мне, Надин...»

– Уедем в другую гостиницу, я хочу, чтобы мы уехали в другую гостиницу... Сейчас уже поздно?

– За тобой следили?

– Нет.

– Обещаю, что завтра мы сделаем все, что ты захочешь. Почему ты не доверишься мне? Я неосторожен?

В бою самое опасное – паника. Нервы содрожаются от животного страха, человеческих страхов, накопленных за миллионы лет. Наступает момент, когда воля внезапно перестает властвовать над ними. Человек перестает понимать, что бы то ни было.

– Ты поужинала, Надин? Я попрошу что-нибудь принести.

– Нет. К черту ужин.

Д. осмотрел дверь; старый замок, маленькая щеколда внутри, тонкое дерево не выдержит удара всем корпусом... Надин спросила, будто не верила: «Мы останемся ночевать здесь? Ты что, сможешь спокойно спать?» «Почему нет?» Он подвел ее к окну и открыл его. Перед ними была пустынная улица, освещенная отблесками фонарей; разноцветные вспышки над городом, словно зарницы, прорезывали хмурое небо. Надин с удовольствием вдыхала свежий воздух. Д. рассердился: нельзя открывать ночью окно, не погасив в комнате свет. Пятнадцать метрами

ниже дверные проемы могли служить хорошими постами наблюдения. Проползла похожая на бежевого жука машина, перед дверью гостиницы разливалась лужица сероватого света. Д. взял Надин за талию. «Мне страшно, – сказала она. – Я была дурой. Посмотри вниз. Упасть – и через несколько секунд все будет кончено...»

– Откуда у тебя такие мысли, Надин? Я тебя не узнаю. Мы продолжаем борьбу, ты знаешь, что правда на нашей стороне. И потом, вполне вероятно, через несколько секунд конец может и не наступить. Подумай о больнице, переливании крови, уколах, консилиумах, переломе маленького позвонка, из-за которого на всю жизнь останешься парализованной... Ты говоришь такие глупости!

– Я понимаю. Конец – это нелегко. Дай мне сигарету... Как ты рассудителен.

Вместе со спокойствием она обрела способность ясно мыслить.

– Я встретила Алена. Мужен все знает. Они ищут.

Она подробно рассказала о случившемся. (Ален, Ален, это имя ранило Д. Кто? Ален? Предположение показалось невозможным, но почему же невозможным? Мы свободные люди. Он усмехнулся: заплатим дань...) Д. спокойно произнес:

– Мы потеряли преимущество в несколько дней, вот и все... Я дал им понять, что мы отправляемся в Лондон...

– Они не поверят тому, что ты дал им понять...

Верно.

– Закрой окно, мне холодно, – сказала Надин.

Его тревога нарастала: темная вода выходила из берегов.

Освещенная комната показалась уютной. Вошла симпатичная горничная, принесшая бульон, холодную курицу и слабый чай. «Вы итальянка?» – любезно спросила Надин. «Да, мадам. Это заметно, правда?» – «Мы из Пьемонта», – серьезно сказала мадам Ноэми Баттисти. «Не стоит так злоупотреблять Пьемонтом с нашим доморощенным итальянским, – рассмеялся Д. – Ты помнишь Сорренто?»

– Да, – ответила Надин, и глаза ее засияли.

– Мы начинаем другую жизнь, Надин.

(Было бы точнее сказать: мы заканчиваем жизнь.)

– Тебе нравится имя, которое я придумал – Ноэми? Имя дикарки. Как сейчас вижу тебя купающейся в Сорренто... Все еще будет.

(По меньшей мере возможно. Главное – не упустить этой возможности.)

Они никогда больше не увидят другие, унылые места, которые зимой покрываются снегом, более берущим за душу, чем море и солнце Сорренто – эта мысль обожгла их обоих; и оба они отогнали ее.

– У тебя еще много сил, Саша, – печально произнесла Надин.

(Много – для чего?)

– Я всегда считал, что человек – это значит воля.

Она взглянула на него ясно и одобрительно, но про себя подумала, может ли он быть искренним до конца. Не говорит ли он это, чтобы успокоить ее, успокоить себя? Воля в наши дни стоит так мало – а его воля вообще не идет в счет, даже для того, чтобы обеспечить их весьма проблематичное спасение... И для него, исполненного спокойного мужества, которое на самом деле, быть может, – только отрешенность отчаяния, рассуждения о воле служат всего лишь панцирем, прикрывающим слабое тело. В глубине души крепко отчаяние. Воля требует завершенности.

– Теперь, – сказала Надин, – эта комната мне почти нравится. На улице спокойно. А зарево над бульваром похоже на отражение цветов в воде.

Он промолчал, хотя сравнение показалось ему неточным. Ночное освещение Парижа – отблески адава огня торговли: не цветы в воде, а электричество, которое упрямо действует на

нервы, заставляя продавать и покупать низменные удовольствия, вот что это такое! – Отель засыпал. Все реже скрипел лифт, закрывались двери, время от времени раздавался шум воды – эти звуки лишь подчеркивали тишину, они говорили о том, что люди завершают свой дневной цикл. Людей объединяет лишь усталость и сон. В лицах всех спящих есть трогательное сходство, чем-то роднящие их с мертвыми. Сны рисуют на них подвижные арабески главных желаний – но не приносят успокоения.

– Завтра мы свободны, Надин, можно поспать подольше.

Поспать подольше, пожелание эхом отозвалось внутри. Они легли на стоящие параллельно кровати, затем Надин, подняв обнаженные руки и соединив их на затылке, позвала: «Иди ко мне, Саша», – не в силах вынести холода одиночества. Не экстаз любви, а нежность соединила их. Горячая волна подхватила их и даровала утешение за пережитое. «Не думать, только не думать», – говорил себе Д. Внутренняя дисциплина помогла ему. Надин, опустившая розовые полумесяцы век, внезапно похолодела и широко, тревожно раскрыла глаза. «Послушай... Этот шум у двери...» Моментально овладев собой, Д. холодно взглянул на дверь. Револьвер под рукой. Раздался утробный скрип вывески отеля; чьи-то мягкие шаги удалялись в сторону лестницы... «Ничего, – сказал он, – ничего не бойся, милая». Он увидел в зеркале собственное растерянное лицо. И вновь их захлестнула волна страсти, сияние улыбки стерло страх с лица Надин.

Возвращалась страсть, единение и радость жизни, где нет места ни зубной боли, ни минутному страху. «Надин, сохраняй спокойствие... Я не люблю, когда тебя охватывает нервная дрожь... Мы уже избежали многих опасностей...» Многих, но несравнимых с теми, которые еще предстоят, ядовитые пауки заделывают разрыв паутины: смысл жизни, идеи, родина, единение в опасности, невидимая битва ради будущего, мир, идущий вперед! Все рушится, остается лишь огромный, неоправданный риск. «Все-таки это ужасно, – прошептала Надин. – Нужно привыкнуть к мысли, что...» Д. наблюдал изгиб пальцев Надин, блеск ее овальных ногтей, в то время как она выдавливала прыщик над бровями. – Кто? Бессмысленная ревность унижала его. Вот как слаб человек, освободившийся от старых моральных устоев! Надин почувствовала, как они, без движения лежа рядом, отдаляются друг от друга. «Не уходи», – сказала она жалобно.

Машинально, думая о другом, он произнес:

– Твоя встреча с Аленом не меняет дела...

– Не произноси при мне это имя, Саша, если можешь. Я ненавижу его...

Он все понял. «Этот человек не стоит твоей ненависти, Надин...»

Прежде чем отойти ко сну, Д. осмотрел коридор. Его внимание привлекли две пары обуви, выставленные перед соседней дверью. Мужские ботинки, вызывающе элегантные, из серой змеиной кожи, с каучуковой подошвой. Растоптанные женские туфли, выдававшие полноту своей хозяйки, привыкшей много ходить пешком. «Жалкие создания», – подумал Д., прислушиваясь к дыханию спящей парочки. Вернувшись, он бросил взгляд на освещенную фонарями улицу. Никаких признаков опасности. Профиль Надин выделялся на подушке в окружении рассыпавшихся волос, она спала, успокоившийся красивый большой ребенок. «Ты безгрешна, Надин... Инстинкты безгрешны...» Он все же страдал, его уколола мысль о греховности. Ах, что значат слова! Два заряженных браунинга, прикрытых платком – роскошные игрушки, в совершенстве приспособленные для того, чтобы прийти к искомому финалу, созданные для великой игры убийства и самоубийства. Со времен длинных кремневых ружей, неудобных для самоубийства, проделан большой прогресс! Испытывали ли наши примитивные предки желание покончить с собой? Или это достижение развитой цивилизации, не оставляющей иного пути для бегства? Надеюсь, когда-нибудь психологи решат эту проблему. Я же, господа психоаналитики, верю лишь во врожденную тягу к разрушению и смерти. Подлинное понимание великолепия жизни – удел, быть может, отдаленного будущего, которое трудно себе

представить. И в этом *быть может* – наше величайшее оправдание, достаточное оправдание для самоубийства... Д. погасил лампу. Кружевные занавески пропускали в комнату приглушенный свет.

В глубоком сне Надин почувствовала, как вокруг ее тела сжимаются мощные тиски. Бесформенные щупальца превратились в обвивших ее холодных змей, морской канат сомкнулся на шее. Открылись дверцы черной машины. Внутри прямо сидели трупы. Маленькая девочка Надя шла босиком по тающему снегу, ледяная вода обжигала ноги. Звонили колокола, Христос воскрес, воскрес! Усеянный золотыми звездами пламенеющий купол церкви странно покачивался над бедными деревянными избами, готовый упасть. Черный Ворон, страшная машина исчезала, это не за мной, за другими, но только не за мной! Я безобразна, у меня ужасные мысли. Вороны перелетали с дерева на дерево, за тобой, мы пришли за тобой, каркали они, мы выключем тебе глаза! «Но за что меня должны повесить?» – спросила Надин у сурового бритого лица, внезапно возникшего рядом и слабо шевелившего губами. «Повесить, нет». Сплетения змей ослабли, канат разорвался, грохнул револьвер, испустив мощное, иссиня-черное пламя, переливавшееся по краям всеми цветами радуги. Самое ужасное – полное оцепенение: Господи, это невозможно, это дурной сон, я проснусь... Надин проснулась. На улице протарахтел мотоциклист, часы показывали 5:45, примерный час, когда совершаются казни, если только они совершаются в определенное время. Было еще темно. Надин помнила лишь бесвязные отрывки из своего кошмара. Взяла стакан воды дрожащей рукой. Она едва не задела батистовый четырехугольник платка и уже не могла оторвать взгляд от маленького браунинга. Два нажатия пальца, и мы оба будем свободны... Рука ее дрожала от того, что она боялась искушения больше всей черноты мира. Наклонившись, схватив оружие через платок, избегая прямого контакта с ним, она сбросила его на ковер, под Сашину постель. Этот жест принес ей облегчение, но вдруг она увидела в зеркале свое отражение, белый призрак, неуловимо удалявшийся в область вечного холода и мрака, туда, где мертвые ждут воскрешения – которое не наступит, ибо воскрешение – старая вера, она умерла тоже... «Воскрешение умерло, это научная истина...» Она инстинктивно зажгла лампу у изголовья. Саша спал, вытянувшись на спине, большой лоб, тонкий рот, посиневшие, набухшие веки – такой непохожий на самого себя. Отделившийся от мира. Мертвый. Надин на секунду задумалась. Замогильный холод нес с собой полное умиротворение. Я тоже умерла. Это хорошо. Это просто.

...И Саша открыл глаза, как делал это каждый день в своей жизни, озабоченные, пронизательные и реальные, тревожащие.

– Что такое, Надин?

– Ничего, ничего, мне послышалось...

– Это мотоцикл, – сказал он. – Вот скотина, расшумелся в такой час! Ладно, ложись.

Постарайся уснуть.

Он рассердил ее, но гнев перешел в нежность.

– Я люблю тебя, – сказала она как-то по-детски. – Люблю жизнь, люблю смерть, это странно.

Он повторил словно эхо:

– ...Это странно.

* * *

Месье Гобфен, которого невнимательные клиенты принимали за портье, выполнял на самом деле гораздо более важные функции. Доверие страдавшего болезнью почек хозяина позволило ему стать своего рода управляющим; большую часть времени он проводил за своим бюро, распределяя почту, развешивая и перевешивая ключи от номеров, исключительно из любви к делу. За всем нужен глаз! Гостиница располагалась в семи минутах ходьбы от площади

Анвер, в шести минутах от оживленной улицы Клиньянкур и бульвара Рошешуар, подобно кораблику среди бушующих волн на гербе Лютеции. Не проверите два дня подряд счета из прачечной, и вы поймете, во сколько обходится ваша лень. Забудете зайти на кухню за два часа до начала завтрака – какое расточительство, пройдохи! Сознательное расточительство, положим, 10 %, на это приходится смотреть сквозь пальцы, потому что здесь, в департаменте Сена, каждый должен как-то жить; а еще нужно, чтобы дом приносил доход. Месье Гобфен не любил неоправданного риска. «Не так-то я прост», – говорил он, и в этом можно было не сомневаться.

Всем своим видом месье Гобфен, с длинными, смазанными брильянтином черными волосами на желтом черепе и впальми щеками, демонстрировал такое снисходительное всезнайство, что мог достаивать взглядом лишь предметы особо важные. Его карие, бегающие глаза, которые он всегда опускал под чужим взглядом, исподтишка внимательно изучали клиентов, он будто улавливал какой-то свет души в их одежде, покашливании, манере держать ручку, заполнять счет. Свет души – это, пожалуй, слишком литературное выражение, несвойственное месье Гобфену, он сказал бы: «какой-то запах, что ли, а порой и легкое зловоние». Сначала он исследовал живот человека, ибо пищеварение – показатель важный; брюхо педераста не сравнить с брюхом инженера, любителя телок из бара «Смеющаяся луна». Что бы там ни говорили, округлость продувной бестии не сравнить с пузом менялы, тоже бестии, но уважающей закон. Складки одежды, оттенок, цвет, пуговицы, изношенность и т. д. говорят сами за себя. Не бывает такого, чтобы капитан дальнего плавания в штатском носил костюм того же фасона, что шикарный господин, специализирующийся на торговле черными и белыми рабами. Руки, прикрытые манжетами, волосатость тыльной стороны мужской руки, ее морщины и выступающие суставы, кольца на пальцах скажут вам больше, чем документы, которые в десяти процентах случаев, и этот как минимум, сделаны специально с тем, чтобы ничего не сказать... Месье Гобфен не подозревал, что является глубоким психологом, досконально изучившим мир низости, коварной глупости и полицейских секретов. Особое внимание уделял он парочкам, порокам, преступлениям, расходам. В первую же секунду определяя пары, состоявшие в законном браке, он тут же переставал интересоваться ими, если только не обнаруживал у них редкие, любопытные пороки, денежные или сексуальные проблемы. Ищущие приключений пары также не представляли для него интереса. (В отель с хорошей репутацией не следует пускать клиентов на час, за редким исключением; но по ночам иное дело, и месье, который хочет уединиться с потаскушкой, как правило, не скупится на расходы...) Тайное преступление, напротив, преступление, которое одиноко зреет под видимостью чего-то невинного и банального, не попадает в хронику происшествий, не привлекает внимания полиции, вот частое, хотя и не слишком, проявление человеческих отношений, которое следует молчаливо изучать с такого наблюдательного поста, как стойка гостиницы... Явных преступников следует определять заранее, чтобы не создавать отелю дурную славу. Повинуясь интуиции, несмотря на упадок в делах и пустующие номера, месье Гобфен самым елейным голосом с сожалением заявлял молодой смешливой женщине в соломенной шляпке за четыреста франков и худощавому господину с сильно осветленными волосами, что свободных номеров нет, и посылал их к конкуренту: «Вам там понравится, мадам, месье, там даже немного современнее, чем у нас!» (А послезавтра читал в «Пти Паризьен» о внезапной и подозрительной смерти этого промышленника с Роны, любовницу которого разыскивала полиция. Тогда он испытывал глубочайшее удовлетворение.) Точно также он отсылал он прочь добропорядочного на вид толстяка – нотариуса, поверенного, владельца фирмы? – заявлявшегося вместе с трансвеститом, безупречно изображавшим из себя молоденькую любовницу; и конкурент, в заведении которого происходила презабавная история, получал круглую сумму за молчание. В таких случаях месье Гобфен бывал доволен лишь наполовину: проницательность – это, конечно, хорошо, но лишиться из-за нее круглой суммы не так уж приятно.

Около девяти утра заходил месье Баружо, инспектор полиции, просматривал карточки иностранцев, иногда для видимости что-то записывал, отправлялся в столовую и выпивал вместе с месье Гобфеном чашку горячего черного кофе со старым коньяком. В этот утренний час ресторан заливал приятный свет. Два англичанина поглощали свою яичницу с беконом, пожилая дама грызла роголик, перед ней лежал раскрытый роман Габриэле Д'Аннунцио. Инспектор Баружо показал месье Гобфену несколько фотографий разыскиваемых, которые распространял отдел расследований, а также частные сыскные агентства. Месье Гобфен взял пару, хотя они не вызвали у него особого любопытства. «Награда десять тысяч франков, – сказал Баружо. – Вот скряги!» И вздохнул.

Месье Гобфен с трудом скрывал беспокойство, отчего пожелтел еще больше. В час двадцать он не выдержал и отправился в столовую. Мадам Ноэми Баттисти только что пообедала и поднялась в семнадцатый номер. Месье Бруно Баттисти просматривал иностранные газеты и доедал десерт. На другом конце зала за отдельным столиком негр приступал к трапезе. Были еще незначительные посетители, мужчина и женщина, торговцы из Дижона, и с ними девица, осунувшаяся от порока, которому предавалась в одиночестве. Преодолев неуверенность, которую испытывал в глубине души, месье Гобфен прошелся по залу, слегка наклоняясь, подобно метрдотелю, над сервированными столиками.

– Месье Баттисти, полагаю? – произнес он. – Вы довольны обслуживанием? Сегодня у нас день бургундской кухни...

Д. заметил, как он подошел, и свернул «Берлинер Тагеблатт», которую читал.

– Хм... Ваша кухня превосходна... Ничего не скажешь. Благодарю вас.

И тот, и другой понимали, что за этими ничего не значащими словами кроется что-то еще. Они ощущали взаимный интерес. «Что у него на уме, у этого двуличного типа, похожего на потревоженного клопа?» – подумал Д. и придал своему лицу выражение лицемерного добродушия и заинтересованности. Месье Гобфеном двигали более сложные чувства, граничащие с нерешительностью и неопределенными опасениями.

– Но вы еще не притронулись к кофе, месье Баттистини... (не нарочно ли он исковеркал хорошо известное ему имя?) Вы не пробовали наш выдержанный коньяк, месье?

– Еще нет.

Месье Гобфен подозвал официантку: «Элоди, коньяк для месье... Нет, не рюмку, а графин...» Он в какой-то нерешительности стоял возле крытого белой скатертью стола, и улыбка на желтоватом лице тоже была нерешительной. «В чем дело? – подумал Д. – Клоп слишком любезен...» Графин и пара рюмок появились на столе весьма кстати.

– Попробуем, – медленно произнес Д. – Ваше здоровье, месье. Присаживайтесь.

Месье Гобфен только и ждал этого приглашения. Его нерешительность сразу куда-то исчезла. «Вы позволите?...» Его непроницаемые глаза изучали зал; он сел так, чтобы не оказаться ни к кому спиной. «Плох обед без старого коньяка, – сказал он задумчиво. – Вот что я думаю. Вам понравится».

С расстояния трех шагов он лишь вызывал неприязнь; когда он сидел рядом, бросалась в глаза его худоба, увядшая кожа обтягивали узкий череп. Весь его вид говорил о болезненной, но злобной слабости. Д. понял, что за ним внимательно наблюдают, пытаются разгадать неведомыми ему способами. Он демонстративно взглянул на часы. «Если вы торопитесь, месье Баттисти...» – сказал месье Гобфен. «Вовсе нет», – ответил Д. (Если я отпущу его, то так ничего и не пойму.)

– Ах, вы знаете, я в таком затруднении, – сказал месье Гобфен.

Д. изобразил удивление:

– Из-за чего, месье? Разумеется, меня это не касается... Но раз уж вы заговорили об этом...

– Зарубежные газеты информированы лучше, чем парижская пресса, не правда ли? – спросил месье Гобфен, как будто бы стремясь выиграть время или допустив крайнюю неловкость.

Весьма многозначительное замечание. При приближении опасности Д. охватывало полное, недоброе спокойствие.

– Но, конечно, вас беспокоит не это, как я предполагаю?

Бегающий взгляд месье Гобфена на мгновение задержался, встретившись со взглядом месье Баттисти.

– Конечно, нет, месье Баттисти, вы – честный человек, мне достаточно лишь взглянуть на вас, чтобы сразу это понять. И человек с большим жизненным опытом.

Какая неразумная прямота. Он меня прощупывает. Меня выследили. Но как им это удалось? Д. положил на стол квадратный сжатый кулак. Кулак, грозный в своей простоте.

– Надеюсь, – сказал он, – мы все здесь честные люди. А жизненный опыт у меня действительно есть. Нелегкий опыт... Колонии, месье, научили меня порой идти напролом. Тем хуже для мерзавцев!

Месье Гобфен воспринял завуалированную угрозу с удивительной безмятежностью:

– Значит, я не ошибся, месье Баттисти, обратившись к вам. Я действительно в ужасном затруднении и нуждаюсь в совете.

– Валяйте, – коротко бросил Д., которому было не легче.

– Речь идет о преступлении.

– Знаете, я вовсе не детектив, и преступления мало меня волнуют. Я их навиделся. И вам советую не суетиться. Вы это хотели услышать?

– Нет.

Месье Гобфен извлек из рукава – или из потайного кармана – или из-под галстука – или прямо из своего прямого, чуть искривленного на конце носа фотографию, которую подтолкнул в сторону кулака месье Баттисти: на ней был изображен негр, улыбающийся профессионально, как джазмен, довольный производимым им шумом.

– Убийца.

Это могло оказаться ловким ходом. Д. был удивлен. Улучить удобный момент и вытащить пикового туза вместо трефового – чего же проще?

– Ну и что? – спросил Д., напряженно дыша, – в Париже столько убийц. Почему вас это волнует?

(Они собираются арестовать меня, обвинив в преступлении? Начать процедуру выдачи, основываясь на лживых уликах? Договора о взаимной выдаче преступников не существует... А может, есть какое-то неизвестное мне соглашение между полициями?... Об этом я не подумал... У негра могут быть сообщники, он назовет их, если ему заплатят...)

Месье Гобфен, довольный произведенным эффектом (или просто успокоенный) становился многословным, заговорил тихо, заговорщическим тоном: «Преступление на площади Клиши... Вы непременно должны помнить о нем, месье, это случилось всего неделю назад...»

(Всего неделю назад? У меня нет алиби, я не смогу назвать того, с кем был в тот день... Мы занимались Преступлением Мирового Капитала...)

– Молодой скульптор, нетрадиционной ориентации, из хорошей семьи, родители-миллионеры, понимаете?

– Нет.

«Найден в своем ателье с перерезанным горлом, связанными руками... Обнаженный... Понятно?» «В общих чертах...»

Д. копался в своей памяти, задаваясь вопросом, не вымышлена ли эта история. Молодой, обнаженный, со связанными руками – он вспомнил, или ему показалось, что вспомнил. «Но, между нами говоря, повторяю вам, что мне наплевать...»

«Оставьте меня в покое с вашими гнусными историями», – недвусмысленно давал понять Д., что не укрылось от назойливо-внимательного месье Гобфена. Однако решив пойти до конца, а может, не в силах совладать с внутренним напряжением, Гобфен сказал еще более конфиденциальным тоном:

– Взгляните прямо перед собой. Мне кажется, убийца перед нами.

Негр ковырял во рту зубочисткой. Он спокойно посмотрел на Баттисти, тот отвел глаза. «Ловушка, – подумал Д. – Они могут находиться в сговоре, негр и эта темная личность... Инсценировать арест – и втянуть меня в историю...» Нельзя было не заметить явного сходства этого решительного, словно вытесанного из камня лица с фотографией. Д. показалось, что на живое лицо с фиолетовыми губами, черными глазами и ярко-белыми зрачками легла тень смерти. Он отметил смуглый оттенок кожи, более светлый на щеках, что, так же как и узкий нос, говорило о примеси белой крови. «Тот, на фотографии, будто бы потемнее...»

– Это из-за освещения. Сейчас солнечный день. Посмотрите на его руку.

Более темная на белой скатерти, большая рука говорила о природной силе и обретенной ловкости. Об умении обращаться с мандолиной, спортивными снарядами, опасной бритвой... Почему бы и нет?

– Хм... Самая обыкновенная рука, – сказал месье Баттисти. – Не доверяйте своему воображению...

Месье Гобфен заметил, как сжались кулаки его собеседника, и вновь почувствовал неприятное беспокойство.

– Короче, месье Баттисти, что вы об этом думаете?

– Трудно сказать. Вам следует быть крайне осторожным. Малейшая ошибка может навлечь на вас кучу неприятностей.

Резко встать из-за стола, сказать этому холую – осведомителю: «И вообще, вы мне надоели. Приготовьте счет, ваше заведение мне опротивело...» Но будет ли это разумным? Д. соображал, что могло крыться за их разговором. «Надо подумать. У вас нет других фотографий?»

– Немного. Инспектор всегда так неохотно их оставляет...

Месье Гобфен открыл старый сафьяновый портфель. Сначала он извлек оттуда фото хрупкой, красивой, русоволосой женщины с широко раскрытыми, будто в испуге, глазами; на уровне ее груди был напечатан номер. «Воровка-рецидивистка, я ее знаю... Она стала ласковой со мной с тех пор, как узнала, что у меня есть эта фотография, понимаете?»

– А как же.

– С такими женщинами надо уметь себя вести, – усмехнулся оливково-желтый месье Гобфен, – тогда они сама любезность... А фото вот этого господина мне передали сегодня утром...

Д. сразу же узнал себя на моментальном снимке, тайно сделанном на улице. *Они* приняли предосторожности! Но кто выследил меня, и где? Шесть месяцев назад, когда он тайно привез из Мадрида шестьдесят фотографий из досье Алькантары... «Кто это?» – спросил он с деланным равнодушием. На снимке, украдкой сделанном где-то на Бульварах, был изображен улыбающийся человек в очках в черепаховой оправе, верхнюю часть лица скрывала тень от фетровой шляпы; он стоял возле автомобиля, подняв воротник пальто. Позади аптека, две женщины, снятые со спины... Рядом с ним в кадр попало чье-то плечо... Кто? На обороте было написано: Х., он же Изорэ, он же Марсьен, он же Сондеро-Рибас, он же Хуан, он же Стекланский, он же Бронислав...

1) Фотография явно исходит от *Них*, от наших.

2) Более поздних фото у них нет. Или они не хотят их раздавать... Хорошо.

3) Они не назвали Малинеско и Клементя, следовательно, не хотят раскрывать явочную квартиру... Значит, меня обвинили в том, что я работаю на других... на кого?

4) Плохое качество изображения. Узнаваема только нижняя часть лица...)

– Мошенник? – предположил месье Баттисти.

– Подозрительный иностранец, подозревается в шпионаже... Подумайте, разве могут эти пташки останавливаться в таких добропорядочных отелях, как наш! Они же вхожи во дворцы.

Месье Гобфен впервые посмотрел прямо в глаза Баттисти.

– Я все больше прихожу к выводу, – выразительно заметил Баттисти, – что вы ошибаетесь относительно негра.

– А я, – в тон ему ответил месье Гобфен, – почти уверен в обратном.

«Месье...» И удалился с самой вежливой улыбкой, на которую был способен этот притворщик в черном костюме.

* * *

Д. не хотел показывать, что обеспокоен: чета Баттисти осталась в отеле. Позади бюро у входа начинался холл, скромно обставленный плетеными диваном и креслами. На круглом столике валялись туристические буклеты. С этого неудобного места можно было наблюдать за уличными прохожими, за всеми, кто входит и выходит из отеля, а также за месье Гобфеном. Здесь обыкновенно кто-нибудь находился: то курил, уткнувшись в журнал, какой-то толстяк, то, вооружившись карандашом, разгадывал кроссворды молодой человек. Ни тот, ни другой не интересовались происходившим в этом уголке, похожем на дно бокала, где они высыхали, подобно остаткам влаги. Д. занял одно из кресел напротив читающего толстяка. Тот высморкался. Сидевший за бюро месье Гобфен снял трубку телефона. «Алло, Феликс? Это Гобфен. Такси на пять двадцать пять...» Самое обычное распоряжение, ничего особенно, только цифра 525, отметил Д. Голос дамы отозвался в ушах и принес облегчение. «Вы не забыли заказать машину на полшестого?» «Нет, мадам, можете не беспокоиться, мадам...» Пять тридцать – это все-таки не 252, да и машину она могла заказать заранее. Облегчение опять уступало место тревоге. Толстяк листал журнал. Уходя, он окинул Д. тяжелым взглядом. Ключа в бюро не оставил, прошел мимо Гобфена, будто не заметив его. Невежливо. «А если пойти за ним?» – подумал Д. Приход Надин отвлек его от безумных мыслей, но Гобфен снова взял трубку телефона. «Ну что, – спросила Надин, – ты идешь?» Д. едва заметно кивнул; очень медленно достал коробок спичек, собираясь зажечь папиросу. Гобфен позвал к телефону месье Стивенсона – имя всемирно известного писателя, автора «Острова сокровищ», по ассоциации с ним вспомнился Милтон, его «Потерянный рай». «Yes? Sir... I received at three forty a wire for you... Yes, Sir...»¹ Сообщил о телеграмме с почти двухчасовым опозданием? Непонятно. А что означает 340 по коду? Я схожу с ума, подумал Д. Он вышел. На улице столько народу, в толпе никого не заметишь. Толстяк возвращался в отель под руку с женщиной, похожей на испанку. «Очень просто, они собираются вместе провести ночь, поэтому он и взял с собой ключ... Если только он не привел ее, чтобы показать меня...» Пара, чуть склонившись вперед, вошла в отель – так бросаются в пропасть.

... Не в их интересах арестовывать меня. Я мог бы тогда обратиться за защитой к французским властям. Им нужно лишь найти меня, это хуже всего. Уже нашли? Вопрос сводится к месье Гобфену. Чаша весов колебалась между да и нет. «Надин, мне нужно посмотреть подшивку «Матен»». Оживление городских улиц всегда действовало на Д. успокаивающе, хотя было бы ошибкой считать себя в большей безопасности, затерявшись на тротуаре среди множества людей, чем в четырех безмолвных стенах. Быть может, уличная толчея наводит на мысли об открытом бое, лицом к лицу. Толпа может сыграть на руку преследователям одиночки. В ней у него больше шансов; но когда ему противостоит хорошо оснащенная организация, веро-

¹ Да, сэр... В три сорок я получил для вас телеграмму... Да, сэр... (англ.)

ятность несчастья сводит это преимущество на нет. Тем не менее, улицы большого города, где может поджидать столько ловушек, предоставляли Д. поле для инициативы. Горожанин, даже обложенный со всех сторон невидимыми преследователями, на каждом перекрестке должен рассчитывать на себя, противостоя нежданым встречам с той же волей к жизни, что дикарь в родных джунглях, использующий их как укрытие – нет, иллюзорное укрытие перед лицом хорошо организованной облавы. Но действительно ли облава хорошо организована? Если зверь не обезумел от страха, у него всегда есть возможность спастись. Человека отличает от зверя то, что он не должен терять рассудок ни при каких обстоятельствах.

В окрашенном грязно-красной краской здании редакции «Матен» с большими окнами негромко гудели станки. Бруно Баттисти без труда получил подшивку газет за последнее время. Преступление произошло не на площади Клиши, а на улице неподалеку от площади Бланш, статью иллюстрировала плохого качества фотография – похожая на жирного таракана, раздавленного на бумаге. Тело юноши, лежащего на животе, с вытянутыми вперед связанными руками. Постельное белье под горлом покрыто черными пятнами. Репортер, полуграмотная шпана, писал о жертве как о «последователе британского эстета Оскара Уайльда, скабрзные похождения которого не сходили в свое время с газетных полос...» – Кретин, кретин! Упоминание о «загадочном чернокожем танцоре» развеяло туман подозрений вокруг месье Гобфена.

– Все в порядке, Надин. Хочешь, отдохнем где-нибудь сегодня вечером?

– Это будет непросто, – ответила молодая женщина, улыбнувшись в знак согласия. – Но если ты хочешь...

По привычке он просмотрел раздел объявлений, который не читал после своего бегства. И обнаруженный там призыв поразил его, словно неожиданный удар. «ЖОСЛИНА умоляет Ива написать ей. Срочно. Большое горе. Остаюсь верной.»

– Надин, это от Дарьи.

– Саша, я думаю, мы можем ей доверять...

Мы больше никому не можем доверять. И никто больше не поверит нам. Ужасная связь, самая спасительная в мире людей, эти невидимые нити из золота, света и крови, объединяющие тех, кто предан общему делу, – мы разорвали их, а подозрение разорвало еще раньше, как – неведомо... «Ты всем веришь. В мире больше не осталось веры. Все рухнуло. А мы были сама вера. Думали, что постигли путь Истории и можем двигать ее вперед... И кто мы такие? Пойми...»

Д. не стал говорить этого. Высокие заброшенные ворота Сен-Мартен походили на триумфальную арку, посвященную забытым победам. На высоте человеческого роста старые камни покрывала беловатая плесень старых афиш. Перед ними останавливались люди в поисках пропитания – или хорошего бифштекса, если повезет – готовые ради этого копаться в любой грязи. Смирим гордость! Треть модисток, цветочниц и швей, которым требуются ученицы и подмастерья, поставляют девушек в дома терпимости, если не на панель. Объявления мебельщиков выглядят честно, как и предложения о ремонте велосипедов (хотя последние привлекают внимание угонщиков), ведь хорошенькая девчонка не может столярничать, не правда ли? Когда они шли к площади Республики, в серых, напоенных легкостью сумерках начали зажигаться первые вечерние огни. У Д. кошки скребли на душе, он упрекал себя за то, что старая дружба заставляла его возобновить прерванные отношения. Призыв Дарьи вызвал воспоминания о самом далеком, самом чистом в его прошлом. Да, было и чистое, даже в жестокости.

– У меня уже не будет времени увидеться с ней, – сказал он громко, ища оправдания. Через пять дней мы уезжаем.

– Сделай невозможное, Саша, ты не можешь ее так оставить. Нам нечего опасаться с ее стороны.

Пять дней, и страница будет перевернута. Вывески Парижа зажигались волшебными огнями, за всеми стоял торг, за многими – торг грязный и бесчеловечный, но свет их создавал

какую-то фантастическую поэму. Маленькие кофейни и их симпатичные посетители, металлические будки туалетов на краю тротуаров, внизу которых можно было видеть края штанов писающих людей (пейте, граждане, писайте, граждане, жизнь хороша, чего стесняться! И пусть хоть весь бульвар это видит!), витрины часовщиков, обувщиков, книжных магазинов, забегаловки, цветные открытки грубовато-шутливого содержания, – вульгарная и гордая цивилизация, превыше всего ставящая комфорт, где человеку предоставляется максимум возможностей жить легко, а значит, свободно, не напрягаясь.

Весьма опасно не напрягаться... Очарование Парижа, которого не найти больше нигде на свете, в том, что здесь забываешь о жестокости, о продуманной суровости, которые создают великие державы. Даже в пороках до времени видится некое величие (любое величие в обществе служит питательной почвой для пороков). Можно дорого заплатить за неловкую попытку жить по-человечески, когда для этого открывается столько возможностей...

За стенами одинаково шестиэтажных домов люди жили изолированно, со своими драмами, хорошо питались – чувственные, порой утонченно сентиментальные, не чуждые и своеобразной жизни духовной; на широкой, не шикарной, но ярко освещенной площади Республики слышалась не только французская речь, но и идиш, девицы за стеклянными витринами кафе были из простонародья, служанки, торгующие любовью – тоже своего рода служба...

Две тысячи прохожих, спешащих по своим делам, не замечали одинокую, декоративную, разоруженную статую Марианны, бронзовый цветок на каменном постаменте. Всё по фигу! Тоже жизненная позиция, быть может, самая реалистичная, кто знает? И республиканская...

Через несколько дней все это станет прошлым, наложится на другие щемящие воспоминания, уйдет навсегда. Спасская башня и Собачья башня... Изящный серый монастырь и прямая колоннада Смольного... Что станет с Парижем, что станет с нашими башнями?

– Поедем на Левый берег, Надин, хорошо? Выше нос. Я угощу тебя шампанским.

Выше нос, это и к нему относилось. Призыв Дарьи разбредил старые, незажившие раны. Раны воспоминаний, которые разум не в силах излечить.

* * *

Началось с удивления, что энтузиазм возможен, что новая вера сильнее всего, что действие важнее счастья, что идеи реальнее фактов, что мир значит больше, чем моя жизнь. Службе снабжения одетой в отрепья армии потребовалась униформа – или какая угодно одежда – для рабочих и крестьянских батальонов. (А еще был батальон воров, жуликов, грабителей, каторжников и сутенеров, не хуже прочих...) Районный комиссар раскатывал «р», глаза, плечи, бедра, все мускулистое тело бывшего акробата находилось в движении; он говорил: «За шесть недель учений я превращу вас из последних м... в сносное пушечное мясо, и кто поудачливей – выживет. У меня есть несколько опытных унтеров и старорежимный капитан, выдрессированные как цирковые собачки. Но мне нужны штаны! Можно славно воевать за Революцию без мужества, без офицеров, без топографических карт, почти без снаряжения. Все есть у врага, надо только взять. Но нельзя сражаться, когда нечем прикрыть задницу. Штаны – вот что нас спасет!» Какой-то эрудит запротестовал: «А как же санкюлоты французской Революции...» «Они носили брюки!» Мне было поручено достать материю на местных мануфактурах. Я действовал решительно, так как даже для самых узких штанов требовался драп. И отправился на социализированную мануфактуру. Широкая деревенская улица с окрашенными в светлые цвета домиками привела меня в разорённую слободу. Дальше начиналась степь, где небо соприкасалось с бесплодной землей. Выбитые стекла красно-кирпичной мануфактуры свидетельствовали о запустении; за зияющими в ее ограде дырами виднелись внутренние дворы, ставшие пустырями, вдали чернел лес. Каждую ночь ограда потихоньку уменьшалась, местные жители растаскивали ее на дрова. Умиравшая мануфактура внушала мне отвраще-

ние. Я знал, что микроскопический, но непобедимый грибок точил ее деревянные перекрытия; что из четырехсот работниц, по меньшей мере, сто пятьдесят влачили голодное, отравленное бездельем существование. Старухи, зачем-то задержавшиеся на этом свете, вдовы, потерявшие мужей на войне, матери сгинувших солдат, бродивших, быть может, в этот час где-то по дорогам мира, где царил Антихрист. Проданная корова, украденная собака, кошка, убитая калмыком – я представлял, что женщины эти потеряли бы всякий смысл жить, если не приходили будто сомнамбулы, к своим прядильным станкам и, сжав опущенные руки, не делились бы друг с другом своим горем. Приходили и странные молодые женщины, истощенные, но наглые, чтобы украсть последние катушки ниток, иголки, куски приводных ремней, которые выносили, спрятав между ног. Зимы в этом городе стояли полярные, а снабжение казалось хуже, чем где бы то ни было (каждый город мог бы так же сказать о себе, и был бы прав, но логика здесь не действовала...).

Соответственное общественное сознание... Мне показалось, что я попал на заброшенную мельницу. В кабинете директора сохранялся какой-то призрачный уют; стол, покрытый ободранной зеленой тканью, продавленный диван, пальма, засохшая еще прошлой зимой... Молодая женщина встретила меня резким вопросом: «Что вам нужно, гражданин? У меня нет времени, гражданин». Тогда я смотрел на женщин с особым вниманием... На этой была коричневая шерстяная юбка, кожанка, слишком большие ботинки, голова повязана пуховым платком. Похожа на монашку. Я понял, что она хрупкая и чистая, целомудренная. Бледное овальное лицо было истощенным, но очаровательным. Синеватые веки, длинные ресницы, суровость. Некрасивая или хорошенькая, можно было лишь догадываться. «Секретарь парткома?» – спросил я. «Это я, – ответила Дарья. – Партком – это я. Остальные дураки, либо бездельники».

Я сообщил о своем поручении. Контроль, настоятельное требование от имени Районного Экономического Комитета, в силу полномочий, данных центральным органом, требования службы снабжения; право передавать в Народный трибунал дела о саботаже, даже непродуманном, и сообщать о малейших проявлениях недовольства в ЧК...

«Что ж, – сказала Дарья, не скрывая раздражения, – с вашими приказами, угрозами, бумажками и трибуналами не шить и пары кальсон... И предупреждаю вас: если вы привыкли арестовывать, вы здесь никого не тронете, если только не бросите меня в тюрьму, хотя бы все здесь воровали, а я нет. Я теперь поговорим откровенно: продукция выпускается. Мануфактура работает, как только может работать на одной пятой своих мощностей... Идемте».

Сто пятьдесят четыре работницы действительно занимались делом. Стук швейных машинок обрадовал меня. Горели печки, пожирая двери и половые доски соседних цехов. К следующей неделе мне пообещали четыре сотни штанов, столько же рубах и кителей. В детском голосе Дарьи звучали извинение и одновременно вызов. «Мы можем работать таким образом три или четыре месяца. Я распорядилась топить гнилыми половыми досками из соседних цехов. Это незаконно, у меня нет разрешения Комиссии по сохранению национализированных предприятий. Я продаю крестьянам пятую часть продукции, а также брак, это позволяет мне распределять картошку среди работниц. Это тоже незаконно, товарищ. За шестьдесят процентов сырья я плачу натурой, и это незаконно. Я еженедельно выделяю красное или белое вино беременным, выздоравливающим больным, работницам старше сорока пяти лет, тем, кто ходит на работу десять дней подряд, короче, всем. Это, вероятно, также незаконно... А чтобы не попасть в тюрьму, отправляю коньяк председателю ЧК».

«Конечно, все это незаконно, – сказал я. – Реквизированные алкогольные напитки должны передаваться в распоряжение Бюро народного здравоохранения... Но где вы их берете?» «В погребе моего отца, – сказала она, слегка покраснев. – Мой отец – славный человек, но либерал, совершенно ничего не понимающий; он бежал...».

Такой была девятнадцатилетняя Дарья в тысяча девятьсот девятнадцатом году, в эпоху голода и террора. Мы прошли по цехам, одни из них работали, а в других через дыры в

полу виднелось плиточное покрытие фундамента. И я передал Дарье в одном пакете доносы пролетариев на «вредительскую подрывную контрреволюционную деятельность дочери бывшего капиталиста, эксплуататора народных масс» и Патент на Конструктивную Незаконную Деятельность.

В 22-м году, после многих потерь, я встретил ее в Феодосии, где она лечила легкие, «такие же прогнившие, как полы мануфактуры, помните?», и пыталась поддержать жизнь в десятимесячном рахитичном ребенке, который вскоре умер. Дарья руководила школами, «без тетрадей, без учебников, где детей было в два раза больше, а учителей в два раза меньше, чем требовалось», на пределе нервных сил. Голод, красный и белый террор. От непосильного труда красота ее угасла, нос заострился, губы побледнели, уголки рта опустились. Она показалась мне ограниченной, почти глупой, истеричной, когда однажды прохладным вечером, на покрытом галькой берегу, залитом волшебным светом звезд, я попытался, чтобы развеять ее горечь, оправдать действия Партии... В черном кружевном платке на голове, с руками, опущенными на колени, согнувшаяся, похожая на печальную девочку, Дарья отвечала мне коротко, рублеными фразами, с холодным спокойствием, казалось, поносила идеи, без которых мы не могли жить:

«Я не желаю больше слышать теоретических рассуждений. И цитат из прекрасных книг тоже! Я видела убийства. Их, наши. Они-то созданы для этого, отбросы истории, бесчеловечные пьяные офицеры... Но если мы не отличаемся от них, значит, мы предатели. А мы предавали не раз. Посмотрите на эту скалу над морем. Отсюда связанных офицеров сталкивали ударами сабель... Я видела, как падали эти связки людей, они были похожи на больших крабов... Среди наших слишком много психопатов... Наших? Что у меня общего с ними? А у вас? Не отвечайте. Что у них общего с социализмом? Молчите же, иначе я уйду».

Я замолчал. Потом она позволила мне обнять ее за плечи, я ощутил ее худобу, прижал ее к себе в порыве нежности, я хотел лишь согреть ее, но она похолодела. «Оставьте меня, я уже не женщина...» «Ты всегда была только большим ребенком, Дарья, – сказал я, – чудесным ребенком...» Она оттолкнула меня с такой силой, что я едва не потерял равновесие. «Будьте же мужчиной! И поберегите ваши пошлости для более подходящего случая...» Мы остались хорошими товарищами. Подолгу гуляли по бесплодным греческим холмам Феодосии. Солнце согревало источенные скалы, море было удивительно лазурным, зеленел пустынный горизонт. Большие синие птицы, еще более ласковые, чем море, иногда садились неподалеку и глядели на нас.

«Вы не увлекаетесь охотой? – спрашивала Дарья. – Вам не хочется подстрелить их?» Она похоронила ребенка, вылечила легкие, ожила.

Я вновь увидел ее в Берлине, на приеме в торгпредстве. Дарья была элегантной, выздоровела, помолодела, она выполняла конфиденциальные поручения, помогая некоторым заключенным. Воспитанная немецкими и французскими гувернантками, она изображала жену политзаключенных, которых посещала. Тюрьмы Веймарской республики содержались неплохо, в них царили либеральные порядки, особенно если подмазывать начальство в твердой валюте. «Что вы думаете об этих людях, Дарья?» «Они замечательные и посредственные. Я очень люблю их. Но с ними не сделаешь ничего путного». И улыбнулась белозубой улыбкой.

Мы согласились с тем, что Запад слаб: давно укоренившийся и перешедший в привычку эгоизм, полное забвение неумолимой суровости истории, деньги, возведенные в фетиш, медленное сползание к катастрофе в стремлении избежать неприятностей... Абсурдное убеждение, что все утрясется само собой, и жизнь будет продолжаться... «Мы, – говорила Дарья, – мы знаем, что такие утряски бесчеловечны... В этом наше превосходство». Год, проведенный в тюрьме одной из стран Центральной Европы, не дал ей проникнуться горечью от осознания наших первых кризисов.

Годы спустя мы шли по Курфюрстендам к Ам Цоо среди возбуждения, света, роскоши, соблазнов берлинской ночи. Редкие безработные встречались в толпе богатых людей, господ

с жирными как у свиней затылками, дам гренадерского роста, закутанных в меха. Накрашенные девицы – лишь на них было приятно смотреть – зазывали порочных молодых людей. Дарья неожиданно спросила меня: «Наши безработные переходят на сторону нацистов, которые расплачиваются с ними супом и ботинками... Как ты думаешь, чем все это закончится?» «Чудовищной бойней...» Мы вновь встречались в Париже, Брюсселе, Льеже, Штутгарте, Барселоне...

Дарья вышла замуж за инженера-конструктора, который оказался замешан в дело технических специалистов; она подала на развод. «Он честный, но упрямый. Мы строим не так, как другие, мы строим, как возводят на фронте бетонные укрытия... Он никогда не поймет, что эффективность важнее разума и справедливости; и если приносят в жертву миллионы крестьян, нечего шадить и техников...» Я был счастлив, что она стала такой рассудительной. Черные годы шли чередой, но мы, работники спецслужб за границей, не могли всего знать и понимать. Нам было известно, что на вчера еще непаханных землях встают новые города, что за пять лет из ничего возникает автомобильная, алюминиевая, авиационная, химическая промышленность.

На берегу пепельно-серого Мааса, возле сурового старинного Дома Курция, похожего на каменный сундук, скрывающий сокровища древних мастеров, Дарья пылко рассказывала о побочных продуктах производства стали. «Производство все расставит по своим местам. Рациональное использование побочных продуктов значит сейчас больше, чем идеологические ошибки или судебная несправедливость. Со временем мы исправим все ошибки, лишь бы были аптечки для лекарств... Если на этом пути кто-то из политиков несправедливо потеряет свою репутацию, это не так важно. Разве ты со мной не согласен?» Меня обуревали сомнения. Разве при производстве аптек и доменных печей не нужно думать о человеке, о сегодняшнем рабочем, великом труженике, который не может страдать под ярмом ради будущих лекарств и рельсов? – Цель оправдывает средства, ложь во спасение. Средства должны соответствовать цели, и только тогда она будет достигнута. Если мы раздавим человека сегодня, сможем ли мы сделать что-то стоящее для тех, кто придет завтра? И для самих себя? Но я был благодарен Дарье за ее уверенность, по крайней мере, внешнюю.

Когда наша кровь окропила страницы всех газет, когда она потекла по всем сточным канавам, Дарья, казалось, постарела, стала походить на горькую монашку, скривившую сжатый рот, и мы перестали говорить о том, что вынудило бы нас благоразумно притворяться и лгать или поставило бы все под сомнение, показало бы наше бессилие, привело бы к признанию того, что из боязни предательства мы готовы бежать и предавать... Мы обсуждали фильмы и концерты. Но однажды в кинотеатре на Елисейских Полях у Дарьи произошел нервный срыв. Казалось, она разрыдалась из-за драмы Майерлинга... Это было на следующий день после тайной казни двадцати семи.

* * *

Погребок был наполнен бешеным уханьем там-тамов. Праздничный шум волнующего праздника в пустыне ночи, отдававшийся под низкими сводами. Несколько темнокожих мужчин в белых костюмах весело и неистово играли на своих африканских инструментах. В свете яркой лампы плясали их худые руки, сверкали белые зубы, за вызывающим смехом крылась животная тоска. Их группа закрывала проход в маленький уголок, где развлекалась избранная публика. Желтолицый парень в шароварах и феске разносил подносы с аперитивом. Самый молодой из музыкантов с грацией изнеженного атлета нырнул в это укромное место... Другая часть зала, в которую можно было попасть с улицы, спустившись по кривой узкой лестнице, придерживаясь за выбеленные стены, представляла собой довольно убогое алжирское кафе, слабо освещенное, разделенное на несколько ниш, где группы и пары сидели за крытыми ста-

рыми скатертями столиками. Варварский ритм, сотрясавший стены резкими волнами, проник в головы, глотки, нервы, глаза, как примитивный яд.

– Надин, я много думал о Дарье и думаю, что ты права. Я должен с ней увидеться.

Подходил к концу невеселый вечер, когда они старались избегать освещенных мест, кинотеатров, кафе, бульваров, опасаясь случайной встречи. Здесь они чувствовали себя в безопасности под защитой полумрака, низкие своды сообщали им особую близость, в нише напротив они могли видеть лишь длинные женские ноги в черных сетчатых чулках. Женщина с роскошными рыжими волосами бросалась в объятия невидимого мужчины. Красноватый кончик ее папиросы медленно поднимался к губам. Под потолком клубился табачный дым. Когда музыка прекращалась, тишина обрушивалась на них, будто бесчисленные капли воды, в голове звучал шум прибоя... К счастью, паузы длились недолго, транс возобновлялся.

Надин с умоляющим видом повернулась к Саше.

– Нам действительно нужно возвращаться в этот грязный отель? Я боюсь его. Задержимся здесь подольше.

– Но это очень хороший отель. Что тебе нужно?

– ...Что это за преступление, о котором ты прочитал в газете?

– Которое не должно меня интересовать, хотела ты сказать. Я проверял даты.

Надин прижалась к нему.

– ...Если бы ты знал, как я устала от преступлений. Мне кажется, что пассажиры метро только и думают, что о них. Одни боятся, наблюдают, другие возбуждаются от преступлений, все будто запутались в одной сети... Ты думаешь, это когда-нибудь закончится?

Приглушенный, оглушающий шум там-тамов обрушивался на них своей благодетельной тяжестью. Д. втянул носом воздух, наполненный шумом, дымом, пахнущий плесенью и потом. От берберов или арабов, исполняющих эту пронизанную эротикой музыку оазисов, исходила плотская радость... Вот чего лишились цивилизованные люди: радости скакать вокруг огня под ритмичный грохот барабанов, простого опьянения жизнью. И в этом, должно быть, кроется причины многих странных и страшных преступлений...

– Надин, через несколько дней со всем этим для нас будет покончено...

Д. размышлял: «Если только не будет покончено с нами... Впрочем, мы на положении жертв... Уже наполовину свободны... Ненавижу быть жертвой... Хуже только одно. Часто жертву и мучителя, казнимого и палача связывает своего рода сообщничество... нездоровая идея... Немезида...» Когда мы совершали столько ужасных вещей ради будущего, мы чувствовали себя правыми. Ибо хотели прорвать замкнутый круг войны и бесчеловечности. И порой у нас возникало чувство, хотя даже саму мысль об этом мы гнали прочь, что мы заслуживаем кары... Что кровавый круг, который мы стремимся прорвать, сомкнется вокруг нас. Отказаться от насилия? Если бы только это было возможным! (Перед глазами встала тень давно исчезнувшего товарища, павшего на Дальневосточном фронте, погребенного под снегом с жалкими военными почестями, под звук жалких материалистических речей: «Вечная память тебе, брат!» Красивый парень, похожий на льва, после победы, увенчанной массовой бойней, пьяно, но пророчески восклицал: «Вот увидите, друзья! Победим мы или потерпим поражение, через десять месяцев, через десять лет, всех нас в конце концов расстреляют. И поделом!» Мы вылили ему на голову ведро холодной воды. Самый старший из нас, считавшийся мудрецом, изрек: «Немезида».

Я вспыхнул: «Что общего между древнегреческими мифами – черт бы их побрал! – и нашей марксистской революцией?» Старший товарищ назвал меня дураком. Он писал замечательные исследования по проблемам культуры. Книги его пошли под нож, а сам он умер от цинги за Полярным кругом, где ни знания, ни идеи, ни культура, ни подлинный стоицизм не стоили теплой оленьей шубы.)

На сцену вышла южнооранская танцовщица. (... Цивилизации северного оленя известны греческие танцы, пришедшие с Понта Эвксинского... Угро-финны, монголы и скифы подражали обрядовым пляскам Ионических островов... В танце есть преемственность, сохраняющаяся, пока существует человечество... Над этим стоит задуматься.) Это была крепкая, темнокожая, янтарно-смуглая девушка, высокая, широкобедрая, нежно играющая мускулами. На ней был шафранно-желтый тюрбан, грубая ткань прикрывала полные груди, из-под широкой юбки в складку виднелись лишь пальцы ног. Сначала она медленно, волнообразно двигала руками, затем ее пупок затрепетал, в гладком темном животе, казалось, сосредоточилась вся женская жизненная сила. Широкое лицо, на котором застыла ленивая улыбка, выражало лишь беззвучное животное блаженство. Д. любовался ею сначала издали, то есть с другого витка единой спирали, по которой мы все движемся. Прекрасное создание, танцующее для нас, помоги мне избавиться от проблем, воспоминаний, тревоги, горечи, которые поднимаются во мне, как в тебе – самые древние желания! Благодарю тебя. Танцовщица, вытянувшись подобно далеким пальмам, вдруг встрепенулась в сладострастном порыве. Ее живот, бедра, покрытые потом, глаза, излучали радость. Подняв руки, она сорвала тюрбан, превратив его в шарф, который обмотала вокруг пояса подобно огромной розе из шафранного шелка, трепещущей между бедер. И упала на колени, изогнувшись, расслабившись после порыва страсти.

– Эта прекрасная кобылицы отвлекла тебя от черных мыслей, Надин? Пойдем?

Они вышли из погребка. Улица была охвачена полноточной дремой. Перед решеткой на бульваре Сен-Мишель они остановились, глядя на уснувший Люксембургский сад, совсем другой в ярком или тусклом свете дня. От куч опавших листьев исходил запах разложения. Обнаженные деревья протягивали во мрак свои ветви без тени, без времени.

– Вот будущее, – сказала Надин.

Д. резко сжал ее руки.

– Не знал, что ты так слаба. Я запрещаю тебе быть такой. Чего ты боишься? Что нас убьют, как многих других? Это бы лишь принесло облегчение. Говорю тебе, мы заново начнем жизнь – вслепую. Мы работали ради жизни; что ж, мы имеем на нее право.

Из мрака возникла и приблизилась к ним прихрамывающая тень: это оказался опирающийся на палку старик в мятой фетровой шляпе. Тягучий, надломленный голос очень тихо произнес:

– Не надо, мсье, устраивать сцены дамочке. Ну что она может поделывать? Что вы думаете?

– Слышишь, – воскликнул Д., – сама ночь говорит с нами... Что ты можешь поделывать?

Хромая тень прошла мимо, оставив после себя шлейф затихающих слов. «Конечно, ночь иногда говорит, почему бы ей не говорить? Ну да...»

Надин и Д. дружно рассмеялись. Пора возвращаться. Кафе отбрасывали уютные отблески на тротуар. В конце улицы Суфло перистиль Пантеона возвышался над окутанным туманом некрополем, а на бульваре Сен-Мишель жизнь продолжалась в своем неизменном очаровании.

* * *

Предосторожность можно считать абстрактной и прикладной наукой, вроде геометрии (неэвклидовой, само собой). Дано: произвольная плоскость А, ограниченная подвижными прямыми и кривыми О (от слова «опасность»); найти точку Z, также подвижную, в одной или нескольких зонах Т («труд») на максимальном удалении от линий О... При решении задачи учитывать также неизвестные четвертого измерения R и У, которые определим как организацию и ум противника. Учитывать и пятое измерение Р, психологию: нервы, страх, предательство; и, наконец, случай Х... Противопоставим им измерение М («мы»), включающее в себя нашу организацию, наш ум, наше хладнокровие. Для Д. отныне седьмое измерение М совпало с четвертым, пятым и шестым! Он потерял ориентиры необходимые для попадания в

точку Z. Никакой поддержки ни от кого и ожидание любой неприятности от службы, к которой он принадлежал еще накануне. С каждым днем они приходили в себя, выдвигали вперед тяжелые орудия, расставляли ловушки. Невозможно догадаться, что они знают, какие приказы получают, какой готовят удар. Не следует исключать и на первый взгляд невероятное предположение об умышленном бездействии с их стороны. Подавая в отставку, Д. формально не нарушал ни одного положения специального закона, невыполнение которого карается смертной казнью; но положения эти не предусматривали уход в отставку. Неписанный закон требовал уничтожать всякого агента, не повиновавшегося приказу, а осуждение режима есть самое тяжкое неповиновение, ибо означает мятеж этого метафизического X, человеческой совести, самое существование которой способно привести к краху того, что мы называли «железной дисциплиной», а другие – дисциплиной трупов. Будучи гражданином, Д. подпадал под действие закона, карающего (смертью без суда, после простого установления личности) дезертирство солдата за границей, пусть даже в мирное время. Кроме того, он отдавал себе отчет в существовании всеобщего психоза, поскольку против него выступил. Если бы он просто ушел, не совершая предательства, сохранив верность, насколько это вообще возможно для человека (чертовски неопределенная формула!), не одобряя лишь нетерпимость, которая губит нас, если бы он канул в безвестность, – любого начальника, который допустил бы подобное, сочли бы безумцем или сообщником, которого следует незамедлительно ликвидировать.

Он понял, что не может больше доверять никому и ничему. А без этой непоколебимой уверенности невозможно быть тайным агентом. Организация не оставит вас; в любых, даже самых критических обстоятельствах организация будет вновь и вновь плести свои сети ради вашей защиты; каждый член организации, даже если он вас ненавидит, выполнит свой долг по отношению к вам; на самой вершине иерархии начальники, обладающие всеми тайными средствами, не допустят ничьей гибели, если на то нет причин высшего порядка – знание этого создавало ощущение безопасности в самых рискованных ситуациях. («Каждый из нас может погибнуть лишь по своей вине или от нашей руки! – заявлял один из вождей. – Для нас не существует непреодолимых препятствий.») И Д. пятнадцать лет проработал в дюжине стран, в том числе в этом ужасном осином гнезде, Третьем Рейхе, где все, что они делали, уничтожалось с дьявольской педантичностью.

Теперь встреча с Дарьей ставила перед ним ряд маленьких, но неразрешимых проблем. Д. не сомневался, что на Дарью можно положиться, что она переживает период глубокого разочарования, что она питает к нему дружбу, которая сильнее любви. Но именно поэтому она могла сама попасться в невидимую сеть. Свое неприятие происходящего она также скрывала под маской безнадёжного лицемерия. Ей не доверяли, потому что в течение полугода не давали серьезных поручений. «Отдыхайте, – говорили ей, – после Испании вам нужно восстановить нервную систему...» В конце концов, он разработал следующий план. Позвонить Дарье и назначить ей встречу всего через четверть часа напротив такого-то дома на малолюдной улице Сен-Пер. Сверим часы. Поймать машину, отвезти ее? Куда? Удобнее всего было бы зарезервировать комнату в каком-нибудь укромном отеле. Но хотя Дарья и не страдает предрассудками, не будет ли ей неприятно попасть в двусмысленное положение любовного свидания? Кроме того, горничные иногда подслушивают под дверь; их может заметить какой-нибудь нечаянный соглядатай... Мы явили бы собой весьма подозрительную пару, чуждую удовольствий и пороков, братскую, опустошенную взаимными откровениями... Париж со своими неисчерпаемыми возможностями не мог дать им убежища для прощания, пронизанного горькой честностью.

Д. отверг мысль о музеях, церквях, вокзалах, скверах, парках, таких пленительных Бют-Шомон и Монсо; мог пойти дождь, стояли ноябрьские холода, это было бы душераздирающе тоскливо, также как пойти на кладбище Пер-Лашез, в последний раз поклониться Стене Коммунаров – им повезло, коммунарам, они пали на пороге будущего! Ладно, наплевать на плохую погоду! Ему хотелось на воздух. Мы пойдем в Ботанический сад. В маленьких кафе по сосед-

ству есть тихие укромные зальчики, предназначенные для переживающих крушение парочек. Самые драматичные сцены быта, если разыгрываются вполголоса, не удивляют ни официанток, ни хозяек, которые незаметно наблюдают за ними из удовольствия прочесть на следующий день в газетах об очередной трагедии: «Любовники бросились в Сену... Она убила его и покончила с собой выстрелом в сердце». Когда узнаешь лица на фотографиях, газетные строки оживают. Ну да, они сидели за тем столиком в глубине, это точно они, помните? Злобно поджавшая губы брюнетка: «Что-то заставляет меня сомневаться...» Подобные удачи происходят нечасто, большинство парочек мирится или расходится, не привлекая внимания репортеров криминальной хроники.

Узкие аллеи, усеянные чистым гравием, пересекали Школу Декоративных Кустарников, Школу Саженцев... Побуревшие кустарники, бесцветное небо, прямые дорожки выглядели бедно. Дарья сказала:

– Я принесла тебе послание от Кранца...

Неприятная неожиданность. Значит, Дарья вызвала его, не повинуюсь отчаянию, а по приказу? Ловушка захлопывается?

– От Кранца? Он в Париже?

– Ничего не бойся. Он приехал с проверкой. Это он получил твое послание.

(«Он не имел права вскрывать его... А может, он на все имеет право...»)

– Я работаю с ним. Он знает о нашей дружбе. Он оказался настолько понимающим...

Не знала, что в нем может быть столько доброты. Он сказал мне: «Бедный мальчик! Он превосходно справляется со всеми поручениями, мы предложим ему важный пост на Востоке... Грядет война, нам не хватает людей его закала. Отыщите его, найдите его любой ценой... Скажите, что в настоящий момент ему нечего опасаться, что я смогу его защитить, я обладаю очень большим влиянием... У него сдали нервы. А мои нервы, думаете, в порядке? Я уж не спрашиваю о ваших... Мы живем в ужасное время, время беззакония, нам необходима слепая вера, надо действовать с удвоенной энергией, чтобы не погибнуть, чтобы все не погибло, я хотел сказать, ибо он, вы и я значим так мало! Я еще могу сжечь его письмо, добиться для него прощения... Разумеется, ему придется возвратиться; но я обещаю ему интересную работу в сфере хозяйственного планирования, работу нелегкую. О нем забудут, затем вознаградят, и когда-нибудь он еще будет благодарить меня за то, что спас его от самого себя...» Вот, Саша. Кранц умоляет тебя о встрече, хотя бы самой короткой. Я уверена в его искренности...

– Ах, ты уверена...

Д. похолодел. Не следовало с ней встречаться! Глупая сентиментальность, воспоминания о героическом времени и все такое прочее. Сколько раз Кранц говорил уже подобные вещи? И сколько человек дали себя обмануть и погибли? Если он искренен, что не так уж невероятно, то искренна ли система? Система плюет на искренность Кранца и идет своим путем. Я поступил правильно, дав Дарье лишь двадцать минут на то, чтобы одеться и приехать на место встречи, кто знает, не предупредила ли она всю свору? Она могла позвонить. Внимание Д. привлек пожилой господин, прогуливающийся взад и вперед по Аллее Саженцев. Но мальчик, подбежавший к деду и взявший его за руку, успокоил Д. Ход его мыслей принял иное направление. Поскольку Кранц все рассказал Дарье, она компрометирует себя, и ей это известно. Что ждет ее? Если только она не пойдет против меня до конца. Это было бы для нее единственным средством спастись, и то ненадежным. Д. сделал вид, что соглашается с ней:

– Кранц – замечательный товарищ. (Мысль: Как ему до сих пор удавалось выжить?) Ты права, Дарья, я пережил нелегкие минуты...

Он повернулся к ней и криво усмехнулся:

– Представь себе, однажды вечером в кабаре я слушал молодую певицу, которая пела глупую песенку о любви:

Я так страдала,
Что сердце вывернулось наизнанку...

Я запомнил эти слова – а я не сентиментален – и послал девушке цветы, приложив к ним визитную карточку с моим предпоследним псевдонимом... Цветы, разумеется, красные...

Он избегал внимательного взгляда ее серых глаз.

– Я увижусь с Кранцем, он сожжет мое письмо. Я вернусь. Если я предстану перед Дисциплинарным советом, то получу – без письма – десять лет. Я очень хочу возвратиться к работе. Если Кранц так влиятелен, как он утверждает, я попрошу пост где-нибудь на Северном морском пути...

– Ты серьезно?

– Да. Этот сад похож на кладбище. Поедем в какое-нибудь кафе в центре. Мне больше не нужно скрываться. Ты спасаешь меня, Даша, я рад, что это делаешь именно ты... Ты все такая же, как в Феодосии... Ты знаешь, я устал...

– Не делай этого, – резко сказала Дарья.

Действительно, все такая же, как и прежде. С лицом девочки-монашки, с усталостью, залегшей в уголках губ и глаз. Посуровевшая.

– Кранц не может сделать ничего... Никто не может... Если ты возвратишься, ты погиб... Ты бы погиб, даже если бы ничего не совершил... И я, вероятно, вместе с тобой.

Он повернулся к ней, пристально глядя в глаза.

– Значит, это я тебя спасаю. Присоединяйся к нам. Где бы мы ни нашли убежище, будь с нами.

– Как ты добр, – сказала она просветлев.

Д. уже жалел о своем порыве. Его вновь охватили опасения. Как заглянуть человеку в душу? Когда собеседник переходит от униженного недоверия к пылкой признательности?

Они шли по безликому бульвару Опиталь, мимо серых домов, фабрик, лечебницы Сальпетриер под звуки свистков, доносившихся с соседнего вокзала. Им встречались грузовики, развозившие еду для закусовых, цемент, молочные продукты «Магги»; «кадиллак» был здесь неуместен так же, как дама, одевавшаяся у кутюрье с Вандомской площади. В этом бесцветном квартале жизнь должна быть банальна, как этикетки на дешевых товарах; без излишней роскоши. Д. и Дарья нашли спокойный кафе-бар, обстановку которого в светло-коричневых тонах оживляли синие пятна графинов на столиках. «Когда же, – спросила Дарья, – у нас появятся такие бары, исполненные уюта, о котором мы уже и не помышляем?»

– Когда нас не будет, – ответил Д. – Мы не думали о поте, крови, дерьме, необходимых для того, чтобы народ благоденствовал.

– Осторожно. Ты говоришь, как крупный капиталист. Разве ты не считаешь, что для этого нужно, в первую очередь, больше благородства и ума? Времена первоначального накопления миновали.

– Не у нас. И наступает время разрушений.

Так они начали двойной монолог, выплескивая навязчивые мысли, которые занимали не только их умы. «Уже два года я живу в каком-то мрачном бреду», – сказала Дарья. «Я тоже...» «Ты знаешь о расхищении фондов Лесотреста в результате различных махинаций? Я случайно узнала об этом, ведь часть этих фондов была передана мной, и вот мне стало известно, куда они ушли и кто отдавал распоряжения! А Толстяк, который признавался в безумных вещах, исходил ядовитой слюной, подлец несчастный, что с ним сделали! Я читала газеты, слушала радио, слышала его бредовые речи, я не могла поверить, не могла никому смотреть в глаза, мне казалось, что все кругом сгорают от стыда... Я попыталась понять. Но как можно понять? Саша, не смотри на меня, как самоубийца...»

– Как самоубийца, говоришь? Нет. Наоборот, я защищаю свою жизнь, чтобы попытаться понять, чтобы увидеть, чем все закончится... Быть может, мы жестоко обманываемся, ибо не знаем чего-то важного? В это я не верю. Плановая, централизованная, разумно управляемая экономика имеет преимущества перед всякой другой; благодаря ей мы выжили в таких обстоятельствах, когда любой другой режим неизбежно бы пал... Но разумное управление должно быть гуманным... Разве бесчеловечность может быть разумной?

– Саша, я задам тебе вопрос, который, возможно, покажется тебе безумным или ребяческим, но все же ответь мне. Не позабыли ли мы о человеке и душе? Быть может, это одно и то же...

– Нет, потому что мы начали с забвения самих себя... Когда индивидуализм перестает быть суровым дарвиновским законом борьбы одного против всех, он становится жалкой иллюзией. Преодолев его, мы нашли в себе силы поднять немалую часть мира, стали лучше и энергичнее. Поэтому мне нравятся те, кто забыл даже свое имя, и выполнил роль закваски событий, которые никто так до конца и не поймет, ибо не будет знать их участников... Мы глубоко ошибались, когда верили, что душа, или сознание (я предпочел бы назвать это так) – пережиток прежнего эгоизма. Если я до сих пор жив, то потому что понял – мы не смогли этого оценить. Не говори мне, что бывает сознание извращенное, развращенное, примитивное, невежественное, переменчивое, угасающее! Не говори мне об условных рефлексах, железистых секрциях и комплексах, описанных психоаналитиками: я хорошо представляю себе, какими чудовищами кишит невидимое дно – во мне, в тебе. И все же есть слабый, но неизменный свет, способный порой проникнуть через гранит тюремных стен и надгробных памятников, слабый свет, независимый от нас, который нас зажигает, озаряет, вершит окончательный суд. Он не принадлежит никому, его не измерить никакими приборами, иногда он неясен, ибо сияет в одиночестве, – и какими скотами мы были, заставив его одиноко угасать!

– Твой слабый свет, знаешь ли, давно описан в литературе. Толстой писал: «Во мраке льется свет...»

– Ошибка, Даша. До Толстого об этом сказал апостол Иоанн, и не он был первым... Я скатываюсь в метафизику и мистику, да? Я по глазам вижу, что ты смеешься надо мной... Мы совершили смертельную ошибку, действительно смертельную, которая привела к гибели многих людей от руки палача, – забыв, что лишь эта форма сознания примиряет человека с самим собой и другими, следит, чтобы в нем не возродилось животное, обладающее самыми усовершенствованными политическими механизмами... В нашем языке существуют два разных слова для обозначения объективного и нравственного сознания, как будто одно возможно без другого! Я читал умные книги. Ученые авторы называют эти явления сверх-Я личности. Не стоит бояться ни призраков, ни психологических терминов. Мы успешно использовали нашу тяжелую артиллерию против социального сверх-Я. Империя, собственность, деньги, догмы, господство – ничего не устояло. Мы хотели высвободить лучшее в человеке, а пришли, на мой взгляд, к тому, что стерли его в порошок вместе со всем остальным. И вновь стали узниками новой тюрьмы, более разумно устроенной на вид, более давящей на самом деле, ибо использовался более прочный строительный материал... Империя, догмы – все возродилось (так и должно было получиться), лишь сознание угасало... Я ухожу... Я ухожу... Уходи и ты.

– Помолчи немного, прошу тебя, – прошептала Дарья, – на нас смотрят.

Д. впервые в жизни говорил об этом, и мысли его прояснились, он ощущал прилив новых сил. Но незаметно подступала тоска. Внезапно его охватило отчаяние. Куда бежать? Я говорю так, как будто можно бежать в пустоту. Все рушится, кроме уверенности в скорой войне, континентальной, мировой, химической, сатанинской. Мы со своими мыслями будем обречены на бесполезное молчание в одиночестве и неизвестности, не в силах поделиться своим знанием, а катастрофы пойдут своим чередом... Дарья сказала:

– Извини. Ты прав и твои слова вывели меня из себя. Ты говоришь как поэт-символист,

*В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.*

(А.Блок)

и мне вспомнился другой поэт, француз, который отрекся от всех своих обязательств и писал:

*Предатель, он почти святой,
А у убийц сердца сияют недостижимой чистотой.*

(Андре Сальмон, пер. пр. И. Эренбурга)

Интуиция не обманывала его. И если оставить в стороне литературу, не заслуживаем ли и мы тоже расстрела... Ты уверен, что у Хозяина нет каких-то высших причин убивать, о которых нам не известно?

Она стиснула руки в перчатках в безмолвной мольбе. Он ответил без обиняков:

– Ты на десять лет моложе меня, Даша, и Хозяин что-то значит для тебя... А мы, старики, привыкли рассчитывать на самих себя, мы признаем не хозяев, а доверие... Молодым соплякам, оглушенным записными ораторами, он представляется, наверно, чем-то вроде божества. Эту молодежь исправит лишь могила, которую он ей готовит, да и нам, впрочем, тоже... Я с ним познакомился двадцать лет назад: ничего гениального, никакого превосходства над нами, даже наоборот... Эта ущербность сослужила ему хорошую службу: щепетильность и крылатые идеи сильно помешали бы тирану; чувство юмора не позволило бы ему себя обожествить... Вспомни его возвышение: он не был ни самым сильным, ни самым удачливым, ни даже самым хитрым. Историки создают его культ, ибо отсутствие воображения вынуждает их идти по проторенному пути, а угрозы и собственная посредственность приводит к восхвалению сильнейшего... Это право сильнейшего поддерживает тирана, кем бы он ни был, ибо он захватил командные рычаги, как вор – государственную печать. Вор должен прятаться, тиран – защищаться, даже когда на него не нападают, ибо подозревает, что им не довольны... Причины у Хозяина есть: самые худшие причины.

За холодной враждебностью Дарьи крылась паника, как у Надин. (Женщины более опасны, чем мы. Это мир подавляет женщину больше, чем мужчину...)

– Как далеко ты отошел, – медленно произнесла она. – Ты рассуждаешь как враг.

– Чей враг, Даша? Всего, что мы хотели, строили, создавали? Всего, чего я хочу до сих пор? Всего, чем мы были? Партии? Но во что она превратилась, Партия?

«Худшие причины тоже можно понять... Я вижу несколько. Предательство, угнездившееся среди нас где-то на вершине здания. Видишь, я способен рассуждать как он, поскольку разделяю его беспокойство. Это предположение, совершенно невероятное, следует отвергнуть. Остается маниакальная подозрительность, страх, возникший из понимания тяжести груза, легшего на слишком заурядные плечи... Это присутствует у всех нас, смутный психоз постоянной угрозы нашему существованию... Психоз, усилившийся в душающей атмосфере диктатуры... Лишь свежий ветер может нас спасти. Наконец, причина разумная, ее можно объяснить проявлением обыкновенного безумия: война. Эта прекрасная Европа, сытая, живущая в свое удовольствие, настолько несознательна, что несколько последовательных полубезумцев, таких, как слабоумный и одержимый Гитлер, жирный и неуравновешенный Геринг, почти – да, почти, не будем преувеличивать – знают, что делают, когда своими происками ведут к катастрофе. Для меня война никогда не прекращалась, я боец невидимого фронта, участник переходной войны; я вижу, как множатся подкопы, как закладываются мины, а наверху в неведении заседают парламенты, я с карандашом в руках легко могу подсчитать, сколько времени еще оста-

лось до взрыва: ибо мины лежат на своих местах и фитили зажжены. В этом заблудшем мире нет иного выхода. Хозяину это известно лучше, чем всем нам, все карты адского покера выложены на стол, и в ночных кошмарах он видит, как они увеличиваются и окрашиваются заревом пожаров. Он теряет голову. Мы будем втянуты в войну, чтобы мы ни делали, она возьмет нас за горло и уничтожит. Значит, он хочет быть один перед разверзающейся бездной, не желает терпеть более способных соперников, ибо они также могут потерять голову (все же, с меньшей вероятностью, чем он)... Он не хочет, чтобы разверзлась его личная бездна, которая поглотит его, и сильнейшие займут его место... На самом деле его безумие – вера в свое предназначение...»

Дарья спросила:

– Тебе не кажется, что ты дезертируешь?

– Дезертирую от чего? От подвалов, где совершаются тайные казни? Если бы я верил, что у меня есть пять шансов из ста дожить до войны, я бы испил чашу отвращения, ужаса, угрызений совести и остался бы, остался! Ты можешь дать мне эти пять шансов?

– Нет.

Дарья успокоилась.

– А что станет со мной, Саша, как ты думаешь?

– Дай немного подумать. Возьмешь портвейн, вермут?

Они казались спокойной, помилившейся парой, которая вскоре вернется к себе и будет жить как прежде. Мадам Ламбертье, наблюдавшая за ними из-за кассы, не любила драмы и успокоилась на их счет. Иногда, видите ли, достаточно объяснить откровенно, с открытым сердцем... Кроме того, мадам Ламбертье считала, что честное, опрятное, в некотором смысле интимное заведение, как нельзя лучше приспособлено для примирений (разумеется, в те часы, когда нет сутенеров, девок и прочих скверных типов, которые приносят самую большую прибыль...). «Мари, – подозвала она официантку, – подай им хорошего вермута!» Д., однако, расслабился, ожидая, когда ответ на поставленный вопрос сам возникнет у него в голове.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.